НУЛЕВОЙ ПРОТОКОЛ



ПАТЧ

РОМАН СТОММА

Роман Стомма

Патч

«Автор»
2026

Стомма Р.

Патч / Р. Стомма — «Автор», 2026

После Краснова Артём Нулин впервые за три года живёт не один. Сова, Дрон и Кира рядом, хотя человек без уровня не может дать им ни опыта, ни защиты. Никто не обязан оставаться, и никто пока не ушёл. А Система больше не делает вид, что не замечает его: приёмы, которые годами работали на нуле, закрываются патчем за патчем, и каждый следующий приходит раньше предыдущего.Кодекс присылает за командой наблюдателя. Агент Вале приходит один и ведёт себя так, будто ему нечего скрывать, а Артём не верит людям, которым нечего скрывать. Пока он выясняет, чего от него хотят, ему попадается то, чего не должен был увидеть никто: второй слой Системы, о котором молчат и игроки, и те, кто за ними следит.Артём привык считать цену каждой помощи. Теперь рядом люди, которые цену не называют, и человек из Кодекса, которому он не верит по определению. Верить всем нельзя, а не верить никому уже не получается. Придётся выбрать, пока Система закрывает последние пути к отступлению.

© Стомма Р., 2026
© Автор, 2026

Содержание

ПРОЛОГ. ТРИСТА МЕТРОВ 6
ГЛАВА 1. ЧЕТВЁРТЫЙ ДЕНЬ 8
ГЛАВА 2. РЕЗИНКА 15
ГЛАВА 3. РАСПИСАНИЕ 23
ГЛАВА 4. СОВА: УСТРАНИТЬ. АРТЁМ: ПОДОЖДЁМ. 30
ГЛАВА 5. НИТКА 38
ГЛАВА 6. ПЕРВЫЙ ПРИЗНАК ВТОРОГО СЛОЯ 46
ГЛАВА 7. СЛУЖЕБНАЯ ДВЕРЬ 54
ГЛАВА 8. ИНСТИТУТ 63
Конец ознакомительного фрагмента. 70

Роман Стомма
Патч

Роман Стомма

Нулевой протокол

Патч

Книга вторая

ПРОЛОГ. ТРИСТА МЕТРОВ

Про Прокуратора в Цитадели говорили, что любую бумагу он читает один раз.

Папка на его столе обтрепалась по углам до серой бахромы.

Я увидел это ещё от двери. Охранник забрал у меня нож, пошарил по куртке, второго не нашёл. Нож он повертел, взвесил на ладони, тронул большим пальцем лезвие и убрал в карман. Мы оба сделали вид, что так и должно быть.

Коридор за спиной был пуст и пах мокрой шерстью. На столе у дежурного стоял стакан с недопитым чаем, ложечка ещё торчала в нём. Этаж освободили минут за десять до меня.

— Закройте дверь, — сказал Прокуратор, не поднимая головы.

Я закрыл. Он дочитывал страницу, и я успел рассмотреть паркет.

Две светлые дорожки, вытертые подошвами, вели от двери к столу и от стола к окну.

Потом он посмотрел на меня. Лицо резкое, обветренное, без лишнего. Короткие седые волосы, серые глаза, шрам через левую бровь, старый и ровный, как сгиб на бумаге. Чёрная форма с красной окантовкой воротника и ни одной лишней нашивки.

Уровень я считал по привычке: девяносто девять. Перепроверять было нечего, но я перепроверил.

На краю стола, отдельно от бумаг, лежала жестяная крышка от чайной банки. Он поворачивал её одним пальцем.

— Присядьте, Пеш.

Стул был один и стоял так, что свет из окна падал на меня, а не на него. Я сел.

— Что вам известно об уровне ноль?

— Что он один. Что прокачка к нему не липнет. Что по регламенту Кодекса он подлежит нейтрализации и что приказа на этот счёт никто не видел.

— Вы заметили, что приказа нет.

— Трудно не заметить.

— Хорошо. Читайте.

Он подвинул папку двумя пальцами, разгладил бахрому на ближнем углу. Я взялся за край и потянул — папка не шла. Он не смотрел на меня и не отпускал. Я не тянул сильнее. Тогда он отпустил и ушёл к окну по второй дорожке, высокий, прямой, не торопясь.

Я читал сорок минут.

На обложке значилось «Нулин А. В.», внутри были три года одного человека по страницам: где ночует, что меняет, что берёт и что отдаёт. Страницы пахли пылью и клеем. В нижнем углу каждой, разными почерками, стояла одна и та же пометка: «300+». Метры. Я решил, что это формуляр слежки.

— Это не формуляр, — сказал Прокуратор от окна. Я ничего не спрашивал, и он не обернулся.

В трубе за стеной щёлкнуло, потом загудело ровно.

Больше всего в папке было про плату. За чай, за слух, за то, чтобы с ним просто поговорили.

Дальше, ровным канцелярским почерком: «Оплата: сразу и чуть сверх запрошенного. От излишка не отказывается».

На седьмой странице кто-то с нажимом подчеркнул строку о том, что ни одного случая, когда нулевой принял бы что-то даром, наблюдатели не зафиксировали.

Последние страницы были про другое. Рядом с ним появились люди. Сначала один, потом двое, потом трое. Кто они, отчёт не говорил. С трёхсот метров видны силуэты и расписание.

— Теперь последнюю, — сказал он.

В конце, в графе «рекомендация», у других объектов стояло по одному слову. Здесь бумага казалась чистой. Я умею читать продавленное, если слово написано один раз. Это писали и стирали столько раз, что слова легли друг на друга и остался один нажим, местами до дыр. Тот же, что под строкой на седьмой странице. Писали разные люди. Стирал один.

Папка закрылась тихо. Ладони были мокрыми, и я вытер их о колени, пока он не обернулся.

— Что вы видите? — спросил Прокуратор. Он стоял спиной.

— Что три года он ничего не брал даром. И что последние месяцы рядом с ним люди, которым он, судя по всему, не платит.

— Из этого следует?

— Либо отчёт неточен, либо он изменился.

— Выясните, что из двух.

— Триста метров на каждой странице. Чьё это распоряжение?

— Моё. Три года я не хотел, чтобы он нас заметил.

Краска на подоконнике под его ладонью стёрлась до дерева.

— А теперь?

— Теперь мне нужно знать, что он сделает, когда заметит.

Он повернулся от окна.

— Вы будете близко. Он вас заметит. Наблюдать, в контакт не вступать, не вмешиваться. Если заговорит, не отвечать. Отчёты куратору, его назначат до вечера.

Я опустил руку в карман куртки. Там, где лежал нож, было пусто.

— Почему я? В Цитадели есть люди с лучшими данными.

— Есть.

Больше он ничего не добавил. Я подождал, сколько позволяло приличие.

— Вы плохо лжёте, Пеш. Лгать вам не придётся. Для этого достаточно не разговаривать.

Он окинул меня взглядом, каким проверяют вещь на пригодность: худой, среднего роста, волосы русые и прямые, одежда, про которую не скажешь, военная она или нет. Вещь, по-видимому, подходила.

— Идите, Вале.

Я встал.

У двери я обернулся. Прокуратор уже сидел за столом, и папка была открыта не на первой странице.

ГЛАВА 1. ЧЕТВЁРТЫЙ ДЕНЬ

Чай не кончался двадцать один день. Я считал.

Раньше он кончался: к четвергу на донышке, к субботе третья заварка, а в воскресенье я шёл на рынок торговаться так, будто покупаю почку.

Теперь банка не пустела. Раз в пять дней приходил ящик, в ящике лежала новая пачка, и никто не сказал мне, сколько это стоит.

Баркле мы так и не ответили. Ни «да», ни «нет». Ящики приходили сами, Дрон носил их от трансформаторной будки, и мы их открывали.

Банка жила на полке над буржуйкой, жестяная, из-под довоенных сухарей. Я снял крышку и понюхал. Сухо, горько, чуть дымно.

— Двадцать один, — сказал я вслух, не заметив, что говорю.

— Что? — спросила Кира.

— Дней. Чай не кончился двадцать один день.

— А он должен был?

— Он всегда кончается.

Кира подняла ампулу к свету, посмотрела сквозь неё и поставила в ряд.

— Здесь не кончается, — сказала она.

Здесь была котельная, Дроново место, дворницкая при ней, про которую раньше не знал никто. Десять дней назад он положил на наш стол ключ на шнурке, сказал, что в подвале сыро, и ушёл проверять Серёгу, хотя Серёга в проверке не нуждался. Сыро в подвале и правда было.

Я посмотрел на угольный люк под потолком. Выходов было два, и второй мне до сих пор не нравился.

— Люк нормальный, — сказала Кира, не поднимая головы. — Дрон пролез.

— Один раз.

— Он сказал, что повторять не будет.

Я поставил чайник на буржуйку. Посреди котельной спал секционный чугунный котёл, холодный с позапрошлой зимы. Дрон звал его Гулливером и клялся, что когда-нибудь заведёт.

Перед чаем я положил в банку поменьше две батарейки, подумал и положил третью. На банке Дроновым почерком было написано «в общую кассу, на чай». Чай стал бесплатным, привычка осталась. Сверху лежала пуговица, которую Кира положила в первый же день и больше ничего. Её никто не трогал.

— Где Дрон? — спросил я.

— За ящиком. С пяти.

— Говорит, что ночью никто не ходит?

— Говорит.

Кипяток пошёл в две кружки. Вторую я отнёс к тёплой стене и поставил на ящик, где сидела Кира, и только на обратном пути заметил, что сделал. Заварку на неё я не посчитал.

Тёплая стена досталась Кире сама собой. Никто не решал, никто не уступал. Кружку она взяла, не поднимая головы. Спасибо не сказала. Я бы удивился, если бы сказала.

Панель пришла, как приходит каждое утро, без стука.

Я сделал «скрепку»: два пальца, зажим, пол-оборота запястья, будто сводишь листы. Панель убралась за полсекунды и не успела напомнить, что я всё ещё ноль.

Работало. Третье утро подряд.

Нашёл я её три дня назад, когда искал совсем другое. Баг пустяковый, экономил мне пять секунд в день, те самые, в которые тебе объясняют, чего у тебя нет. В блокноте у него была своя страница и пустая клетка для даты закрытия. Срок у таких мелочей известный, восемь суток. Сегодня шёл четвёртый. Спешить было некуда.

— Дрон идёт, — сказала Кира. — Тяжёлое несёт. Левой. Правую бережёт.

Видит она метров на тридцать, и стены ей, похоже, не мешают. До калитки от нас двадцать восемь, я мерил. Кира говорила о человеке, который ещё не вошёл во двор, как о погоде за окном.

Дверь ударили ногой. Не из хамства. Руки были заняты.

— Не заперто, — сказал я.

— Я знаю, что не заперто! — Дрон вошёл боком, ящик лежал у него на левом предплечье и на бедре. Правую руку он держал чуть согнутой и в стороне, как держат стакан, который боятся расплескать. — Я тебе сколько раз говорил, что замок надо хотя бы изображать... Отойди. Нет, не помогай. Отойди.

Ящик встал на стол, банки внутри брякнули. Дрон выдохнул и потряс левой кистью.

— Шестнадцать кило. На глаз я дал тринадцать, на спине вышло двадцать. Усредним.

— Шестнадцать с половиной, — сказала Кира.

— Ты не весы.

— Весы не видят, как ты нёс.

Дрон открыл рот, закрыл и нашёл что-то интересное на потолке.

— Правая у меня в отпуске, — сказал он. — Плановом. Штатный узел, ресурс, я его экономлю. Любой инженер скажет.

— Покажи, — сказала Кира.

— После завтрака.

— Ты уже завтракал.

— Значит, после следующего.

Кира вернулась к ампулам. Спорить она не стала, и от этого Дрон занервничал сильнее, чем от спора. Он сдвинул крышку и принялся выкладывать, не переставая говорить. Он всегда говорил, когда трогал новое.

— Тушёнка, шесть. Гречка, ну, треть мешка, зато без жучков, я нюхал. Спички по коробку на каждого, так и написано, «на каждого», запятая, красота. Батарейки, двенадцать. Двенадцать, Артём!

— Слышал.

— Соль. Бинты. Спирт. Физраствор, десять! — Он повернулся. — Кира, физраствор!

— Вижу, — сказала Кира.

— Он же как раз...

— Я ему не говорила.

Дрон замер с банкой в руке, а потом поставил её на стол очень аккуратно.

— Я говорил, — сказал он. — Я ему писал.

— Что значит «писал»? — спросил я.

— Ну, писал. Записку. У будки, под кирпичом. Он оставляет список, я оставляю список. — Дрон поднял на меня глаза и сразу поднял ладони. — Я ему не отвечал, Артём, ты не думай. Я ему заказывал. Это разные жанры.

— Заказывал.

— Физраствор. Это не обязательство, это пожелание. Он сам писал, что рад пожеланиям.

— Сколько раз?

— Три. Четыре. — Дрон поскрёб бороду левой. — Пять. Каждый раз по делу!

Я сел на единственный стул, который стоял спиной к стене. Слева тихо щёлкнула ампула, поставленная в ряд.

Записка лежала поверх тушёнки, сложенная вдвое. Почерк ровный, школьный, каждая буква отдельно, как будто пишет на доске для задних рядов. Прочёл я её раньше, чем решил читать.

«Содержимое по списку на обороте. Цен не проставляю. С одной стороны, не хочу тратить ваш чай на арифметику. С другой стороны, подозреваю, что вы всё равно будете считать. Следующая партия через пять дней».

Подписи не было. У Баркла подпись в каждой второй фразе.

Список на обороте шёл по пунктам. Графа «цена» была расчерчена линейкой и оставлена пустой. Внизу, под пустой графой, стояла единственная просьба: «Тару прошу возвращать».

— Читай вслух, — попросил Дрон. — Он красиво пишет.

— «С одной стороны», — сказал я. — Это не цена. Это способ её не называть.

— Это вежливость.

— Это и есть способ.

Дрона «с одной стороны» успокаивало. Меня в этих словах настораживало одно: за ними почти всегда шла сторона похуже.

— А ты сам ему что-нибудь писал? — Дрон поднял банку. — Хоть слово? Хоть «спасибо»?

— Нет.

— Вот. — Он поставил банку с торжеством. — Поэтому я.

Возразить было нечем. Я взял из ящика пачку чая и потянулся к полке. Банка к этому времени стояла полная, пачка не влезала, и я положил её сверху, на крышку.

Сова вошла, и дверь не скрипнула. Дрон заметил её, только когда она села на ящик у входа, лицом ко всем сразу. Он всегда замечал её последним, и его это каждый раз обижало.

От неё пахло мокрым кирпичом. Ночь она провела на обходе. Стрелецкая, Садовое, обратно по гаражам. Дежурства были её взносом в общую кассу, и заменять их она никого не просила.

— Стрелецкая пустая, — сказала она. — Трибут никто не собирает. Люди Краснова разошлись, часть торгует. Садовое работает. Диких не видела, Кодекс не видела.

— Тихо, — сказал Дрон довольно.

— Месяц тихо.

— Ну и хорошо?

Сова посмотрела на него, потом на ящик, потом на записку. Взяла её двумя пальцами, как берут чужое. Прочла, перевернула, прочла оборот. Положила на место и выровняла по краю стола.

— Хорошая бумага, — сказала она.

— Это всё? — спросил я.

— Нет. Он не называет цену, потому что ты откажешься, если назовёшь.

— Или потому что цены нет.

— Цена есть всегда. Её называют позже, когда отказаться уже нельзя.

— Сова, — сказал Дрон. — Он нам физраствор прислал.

— Я не спорю с физраствором. Я спорю с графой.

Она повернулась ко мне, и я узнал этот поворот: сейчас будет один вопрос, и он будет правильный.

— Каждый пятый день, в одно время, к одной и той же будке. Как это называется?

— Снабжение, — сказал Дрон.

— Расписание.

— Расписание, — сказал я, — это то, по чему тебя находят.

— Рада, что мы согласны.

— Скажу ему, чтобы менял день.

— Скажи.

— Будка хорошая, — сказал Дрон тоскливо. — Там никто не ходит.

— Без ящика у меня физраствора на двенадцать дней, — сказала Кира. Ампулы она не отложила. — Если никто не ранен.

Стало тихо. Буржуйка стукнула остывающим боком.

— Ящик остаётся, — сказала Сова. — Место и день меняем.

— Спасибо, — сказал Дрон потолку.

— Дрон. Руку.

— У меня левая здоровая...

— Правую. Она спросила дважды. Третьего раза не будет, третий раз она просто возьмёт.

Дрон вздохнул и вытянул правую руку ладонью вверх. Кира пересела к нему вместе с ящиком и взяла предплечье обеими руками, не как врач, а как берут чужую вещь, которую надо вернуть целой.

Смотрела она мимо, сквозь. Три секунды, может, четыре. Лицо у неё не изменилось. Оно у неё не менялось ни от хорошего, ни от плохого, и за месяц я так и не научился различать.

— Вечером, — сказала она. — Без разговоров.

— Я без разговоров не умею.

— Знаю.

Сова смотрела на это спокойно. В первую неделю, когда Кира подошла к ней с пинцетом, она отдала руку, как отдают оружие на входе. Теперь отдавала чужие.

— Сегодня моя ночь, — сказала она и встала.

— Я возьму, — сказал я. — Эту и завтрашнюю.

— Я не просила.

— Знаю.

Она задержала на мне взгляд, на секунду дольше, чем нужно для такого разговора.

— Ладно, — сказала Сова, и ушла за Гулливера, где у неё был тюфяк у стены, и легла, не разуваясь.

Тару мы вернули в два часа дня. Не в пять утра, как делал Дрон, а в самое пустое время, когда во дворах обедают и спят. Место и день менять мог только Баркла, а час зависел от нас.

Ящик я перед этим отмыл. Песком из ведра, потом водой, до светлого дерева. Дрон наблюдал с верстака и молчал, что для него было подвигом, пока подвиг не кончился.

— Ты вымыл тару.

— Она была грязная.

— Она из-под тушёнки! Её возвращают грязной. Это протокол.

— Чей?

— Мой, — сказал Дрон. — Только что придумал.

Серяки днём были тихими, как бывают тихи места, откуда ушёл кто-то громкий. На воротах светлели квадраты, где соскоблили красновские метки. Лавки открылись заново и торговали вполголоса.

Ящик нёс я. Дрон шёл справа, левым боком ко мне, чтобы я не видел его правую руку, и разговаривал. Он разговаривал, когда ему было неловко, а неловко ему было с самого утра.

— Понимаешь, — сказал он, — есть те, кто берёт, и те, кто просит. Берущий должен. Просящий клиент. У клиента нет долга, у клиента есть счёт.

— А счёта нет.

— Значит, он ещё не посчитал.

— Вот это меня и беспокоит.

— Он профессор, Артём. Профессора считают медленно, зато до конца.

Я переложил ящик на другое плечо.

— Почему ты мне не сказал?

— Потому что ты бы запретил.

— Запретил бы.

— Вот. — Дрон остановился и поднял левую ладонь. — Ты предохранитель, Артём. Выбиваешь раньше, чем пошла нагрузка. Деталь полезная, только свет при этом не горит.

— Я предпочитаю темноту без пожара.

— Я тоже, — сказал Дрон. — Я просто проверяю, что именно горит.

Трансформаторная будка за гаражами стояла там, где её поставили в семидесятых, и с тех пор, по-моему, ни разу не включалась. Кирпич у основания был приподнят с угла. Дрон поддел его носком, и под ним оказалась жестяная коробка из-под леденцов, пустая.

Прежде чем доставать блокнот, я проверил крыши, окна, провалы между гаражами. Никого. В пределах того, что я способен проверить. Дальше проверять было нечем, и я давно научился с этим «дальше» жить.

Две страницы Баркла от меня уже получил. Я вырвал с конца чистую, третью.

Я написал «Спасибо» и перечеркнул. Написал «Просим назвать цену» и перечеркнул тоже: «просим» звучало как просьба, а просить я не хотел. Остался короткий вариант: «Менять день и место. Сообщу когда. А.»

— Телеграмма, — сказал Дрон.

— Мне так привычнее.

— Он старый человек. Ему хочется слова «пожалуйста».

— Он взрослый. Переживёт.

Дрон промолчал. Я посмотрел на лист, потом дописал внизу то слово, которое уже вычёркивал, и на этот раз вычёркивать не стал.

Дрон заглянул через плечо, прочёл, и у него появился живой интерес к трансформатору. Он изучал его так внимательно, будто это была единственная железка в округе, которую стоило изучать.

Лист лёг в коробку, коробка под кирпич. Ящик остался стоять рядом, вымытый, светлого дерева, с одной занозой, до которой я не добрался.

Стемнело.

Дрон сидел на верстаке под лампой с паяльником и разговаривал с платой, как с неудачным родственником. Я проверял мелочи. Делал это каждый вечер, один раз, и вписывал в блокнот одно слово: «жива». Пока оно вписывалось.

Я вызвал панель и сделал «скрепку».

УЧАСТНИК: НУЛИН АРТЁМ ВАСИЛЬЕВИЧ

УРОВЕНЬ: 0 [БЛОКИРОВКА: ПОСТОЯННАЯ]

КЛАСС: [НЕ ИНИЦИАЛИЗИРОВАН]

ОПЫТ: 0 / ∞

СТАТЫ: ОШИБКА_НУЛЬ

Панель висела. Я повторил жест, медленнее. Она висела по-прежнему, и ни одна из пяти строк не дёрнулась, чтобы мне помочь. Секунд пять она провисела ещё и ушла сама, как уходит у тех, кто про «скрепку» не знает.

— Ты с кем сейчас поссорился? — спросил Дрон, не поднимая головы от платы.

— Ни с кем.

— У тебя лицо человека, которому не вернули сдачу.

— Закрылась «скрепка».

— Какая скрепка?

— Мелочь. Баг. Я им панель убирал.

— Ты говорил, они живут восемь дней.

— Говорил.

— Эта сколько?

— Четыре.

Дрон положил паяльник на подставку. Паяльник он выпускал из рук только перед едой и когда случалось что-то серьёзное.

— Ну, значит, ей надоело ждать, — сказал он.

Он улыбался, но смотрел на меня, как смотрят на прибор, у которого поползла стрелка.

— Рано, — сказал я. — На четвёртый день рано.

— Колебания.

— Колебания. — Я кивнул. — Наверное, да.

— Дрон, — сказала Кира. — Вечер.

Дрон не обернулся. Он очень внимательно паял, хотя паяльник лежал на подставке.

— Сейчас не могу. Серёге надо. У него вечерний облёт, без облёта он нервничает.

— Он не нервничает.

— Ты не знаешь, как он нервничает.

Серёга спал на верстаке, сложив винты. Дрон взял его левой рукой, правой не пошевелил и пошёл к двери.

— А ты не сиди с таким лицом, — бросил он мне с порога. — Оно у тебя и так не лучшее.

Дверь закрылась, и стало слышно, как трещит буржуйка.

— Сто четыре, — сказала Кира.

Она сидела на своём ящике спиной к теплу и на меня не смотрела. Она вообще редко смотрела на людей. Ей это было не нужно.

— Что?

— Пульс. Ты сидел спокойно.

— Это чай.

— Это не чай.

Спорить с пульсом я не стал.

Сова проснулась к ночи, проверила дверь и вернулась за Гулливера.

— От двери не отходи, — сказала она оттуда. Это был не вопрос.

— Не отойду.

— Разбудишь, если что.

— Разбужу.

Через минуту она спала, спиной ко всем. Раньше она спала лицом к двери.

Кира заснула ещё раньше, как засыпают люди, которым нечего считать.

Я сидел у входа, блокнот на колене. Огонь на дежурстве не полагался, и я прикрыл заслонку буржуйки так, чтобы щель давала ровно ладонь красного. На строчку хватало.

До сих пор сроки жизни мелочей лежали у меня на разных страницах, у каждой своя. Сегодня я выписал их в один столбик, чтобы поставить «скрепку» рядом с остальными.

«Дверь», с весны. Восемь суток. «Сквозняк». Семь. «Лишний кадр». Шесть. «Тихий вход». Пять. «Скрепка». Четыре.

Восемь, семь, шесть, пять, четыре. Я смотрел на столбик дольше, чем он заслуживал.

За котлом Сова вздохнула во сне. Я подождал, пока дыхание выровняется, и подвёл под столбиком черту.

Ошибки так не стареют. У настоящих ошибок разброс: одна доживает до шестого дня, другая до одиннадцатого, и причин никто не знает. А здесь каждый раз ровно на сутки короче, как зарубки на косяке.

Угли в буржуйке осели с сухим звуком, щель вспыхнула ярче. Я подвинул заслонку обратно.

Так бывает, когда кто-то держит рычаг и сдвигает его на одно деление. Автоматика не помнит, на каком делении остановилась. Раньше тот, кто стоял за рычагом, не торопился. Теперь торопился.

Три, два, один. Дальше я считать не стал. Дальше был ноль, а ноль я знал в лицо.

Команде я пока не говорил. Столбик без причины Сова назвала бы данными, Дрон совпадением, а Кира ничего бы не назвала, и это было бы хуже.

Дверь открылась без стука и без ноги. Дрон вошёл тихо, и это было первое, что мне не понравилось.

Серёга сидел у него на левом плече, мотор ещё тикал, остывая. Дрон снял его, посадил на верстак, вынул из брюха карту памяти и повертел в пальцах. Потом убрал её в нагрудный карман. Не в читалку. В карман.

— Как облёт? — спросил я.

— Нормально, — сказал Дрон. — Тихо.

Он повторил Сову слово в слово. Дрон, который пересказывал мне каждую пролетевшую муху и снабжал её биографией, не добавил к «тихо» ни слова.

Я записал время: двадцать два сорок. Рядом написал «тихо» и взял слово в кавычки.

ГЛАВА 2. РЕЗИНКА

Дрон просидел двенадцать минут и не сказал ни слова. Я считал по углям: щель в заслонке сначала была с ладонь, потом с полладони, и я подбросил.

В левой руке он держал латунный кран и притирал его большим пальцем. Кран был для Гулливера, котёл стоял холодный с позапрошлой зимы, и Дрон обещал завести его до морозов. Правая рука лежала на колене под столом.

Руки у Дрона при волнении всегда оставались спокойными, это руки инженера. Волновался рот. Сейчас рот молчал, и Серёга, лежавший на верстаке брюхом вверх, имел вид собаки, которая что-то съела.

— Ладно, — сказал он в верстак. — Ладно, чёрт с ним.

Он поставил кран на пол и достал карту из нагрудного кармана двумя пальцами левой, как достают занозу. Положил её на пол между нами, контактами вниз.

— Неси сюда, — сказал я.

— Она и там лежит.

— Куда сюда?

— К двери. Мне сказали от двери не отходить.

— Кто сказал?

— Сова.

— Сова спит.

— Сова всегда спит так, что слышит.

За котлом было тихо, и по этой тишине нельзя было понять ничего. Сова лежала спиной к нам. Последнюю неделю она ложилась так каждую ночь, и я до сих пор не решил, комплимент это или экзамен.

Дрон перенёс всё в два захода. Читалка была с кирпич, с экраном в ладонь и ручкой сбоку, чтобы подкрутить, когда садится аккумулятор. Серёгу он прихватил под мышку, потому что без Серёги такие разговоры не вёл. Лампу накрыл майкой, оставив щель с ладонь, ровно как у меня в заслонке. Мы оба сделали вид, что это совпадение.

Он сел на пол у моего ящика и поставил кран рядом с собой, как ставят вещь, которую больше некуда деть.

— Я её не смотрел, — сказал он шёпотом. — Только глазами.

— И?

— Пусто.

Я подождал. Он смотрел не на меня, а на кран у своих колен.

— Дрон.

— Там не пусто.

— Зачем сказал, что пусто?

— Мне надо было, чтобы там оказалось пусто.

Шептал он так, как другие кричат, на все стороны сразу.

— Тише.

— Я тише. Это моё тише. Я вообще громко думаю, это не лечится.

Он пожал левым плечом.

— Почему не сказал сразу? — спросил я.

— Потому что ты бы начал считать.

— Я считаю.

— Вот. И лицо у тебя тогда делается такое, что хочется отдать тебе всё, что есть, лишь бы ты перестал. А я хотел сначала сам.

Карта вошла в паз с щелчком. Экран загорелся серо-зелёным и осветил Дрону лицо снизу. Лицо стало старше, и я убрал глаза.

— Над нами висит дрон, — сказал он. — Не мой.

Сначала на экране не было ничего. Серо-зелёное небо, зелёные крыши, чёрные провалы окон. Облёт как облёт. Серёга шёл над Стрелецкой и по привычке заваливался на левый борт.

— Вот, — сказал Дрон и ткнул левой в угол экрана, в смазанную точку, которую я принял за дефект матрицы.

Он остановил кадр и приблизил. Точка стала тёмным пятном, вытянутым, с кольцом вокруг.

— Размером с тарелку, не больше. Видишь кольцо? Это не винт, это кожух. Винты внутри колец, гасят звук и срезают завихрение. Я такое на довоенных картинках видел.

— Звук?

— На микрофоне Серёги ничего. Ветер громче. У моих шестьдесят два децибела на метр, а у этого я записать не смог вообще. — Он вздохнул шёпотом, и вышел порыв сквозняка. — Дальше хуже.

Он переключил режим, и пятно пропало. Остались серые крыши и серый воздух.

— Тепловизор. Ни градуса над фоном. Моторы греются у всех, физика такая. А у него не греются. Либо там что-то, чего я не знаю, либо кто-то очень, очень потрудился.

— Огни?

— Ни одного. У Серёги их три, потому что без огоньков я теряюсь.

Серёга под мышкой мигнул тусклым огоньком там, где никакой лампочки не было, и погас раньше, чем я успел решить, что мне показалось.

— Я бы за такой корпус руку отдал, — сказал Дрон и положил левую на кран. — Не руку. Что-нибудь другое.

Я промолчал. Он оценил.

— Я хорошо строю, лучше всех в зоне, — сказал Дрон. — И такого не построю. Тут не руки нужны, тут цех.

— Теперь смотри, что он делает.

Следующий фрагмент. В углу экрана бежали цифры расстояния до пятна. Триста один, двести девяносто девять, триста три, триста.

— Дальномер у Серёги из обломков, бьёт на четыреста, — сказал Дрон. — Я не спрашиваю как.

Серёга на экране пошёл к пятну. Цифры поползли вниз. Двести восемьдесят, двести семьдесят, двести шестьдесят. На двухстах пятидесяти пятно двинулось. Цифры замерли, дрогнули и пошли обратно вверх. Двести шестьдесят, двести восемьдесят, двести девяносто пять, триста.

— Он отошёл, — сказал я.

— Я назад, он вперёд. Я вперёд, он назад. — Дрон вернул кадр к началу. — Как на резинке. Триста, плюс-минус пять. Я шесть раз пересмотрел.

— Человек так не держит.

— Человек так не держит. Это программа.

— И в программе кто-то написал число.

— Триста.

— На такой матрице лица ночью с трёхсот видно?

— У него такая матрица, что он с трёхсот пуговицы посчитает. И с пятисот посчитает, если захочет.

— Тогда триста выбрали не для камеры.

Дрон открыл рот, закрыл и спросил то, что я спросил бы на его месте.

— А для чего?

— Не знаю.

Он подождал ответа, которого у меня не было, и включил дальше.

— Он следит не за нами, — сказал он. — Смотри, куда повёрнут. Не на крышу. На Серёгу.

— На то, что ты выпускаешь.

— Я не люблю, когда Серёгу разглядывают. — Это он сказал тише, даже для шёпота. — Он стеснительный.

Серёга под мышкой промолчал, как умеет только он.

— Что ты сделал, когда увидел? — спросил я.

— Подлетел. — Дрон поднял ладонь, как человек, ожидающий удара. — Серёга любопытный.

— Сколько раз?

— Три. Один раз ещё мигнул ему. Поздоровался.

— Поздоровался.

— Я думал, это Дикие с игрушкой!

— Ты думал, что Дикие с игрушкой держат триста метров с точностью до пяти?

— Я не думал. Я радовался.

— Он уже там, когда ты выходишь на крышу?

— Он стоит минут за десять до. Я летаю каждый вечер в девять. Ровно в девять.

— Каждый вечер в девять.

— У меня режим!

— Режим. — Я посмотрел на него. — У них тоже.

Дрон не ответил. Пятно в углу кадра не сдвинулось за весь фрагмент.

— Теперь самое плохое, — сказал он.

— Было что-то хуже?

— Карта хранит тридцать вечеров. Кольцо, тридцать первый стирает первый. — Он говорил экрану, а не мне. — Я не хотел смотреть. Если он там один раз, это случайность, пролетал. А если не один...

— Смотри.

— Я знаю, что надо смотреть. Я не хочу.

Но смотрел. Вечера шли один за другим. Крыши, провалы, чёрные квадраты окон. Каждые несколько секунд Дрон жал на паузу, искал в углу пятно и ставил на листке палочку. Палочки выстраивались ровно.

Вылетов за тридцать вечеров было двадцать шесть, четыре вечера лил дождь. Палочек стало двадцать шесть. Я пересчитал их дважды, потому что хотел ошибиться сильнее, чем Дрон.

— Двадцать шесть из двадцати шести, — сказал он. Карандаш лёг на листок. — Каждый вылет. Каждый, Артём.

Двадцать шесть вечеров мы пили чай.

Первый вечер в кольце ничем не отличался от остальных. Пятно стояло на месте, как приколотое. Кольцо стирало всё, что было раньше. Сколько оно висело там до первого кадра, карта не помнила, а спросить было не у кого.

— Над подвалом тоже, — сказал Дрон и показал левой на первую дюжину палочек. — Вот эти от подвала. Он стоял на той же дистанции, над теми же крышами, откуда виден вход.

Он перемотал на минуту назад и вперёд. Цифры на дальномере на секунду скакнули на пять метров и вернулись, а пятно в углу как будто мигнуло.

— Видишь? Один уходит, другой встаёт на то же место. Это не один дрон. Это смена.

— Сколько их?

— Не меньше двух. Может, три. Стоят по очереди.

— А в день переезда?

Дрон не двинулся.

— Там всё то же.

— Покажи.

— Я смотрел. Там всё то же.

Я протянул руку к читалке. Он накрыл экран правой ладонью. Правой, той, что весь вечер лежала под столом.

Мы сидели так, наверное, полминуты. Я не тянул. Он не убирал.

— Ты знаешь, что там, — сказал я.

— Знаю.

— И молчал.

— Я не молчал. Я надеялся.

Он убрал руку. На экране было два кадра рядом. Первый вылет, от подвала, перед самым нашим уходом. Второй, час спустя, уже отсюда. В правом углу обоих было пятно. Дрон положил палец между ними.

— Он переехал с нами.

— Мы переезжали днём, — сказал я. — Поодиночке, по разным дорогам.

— Я знаю.

— Один дрон четверых по разным улицам не поведёт. Потеряет на первом повороте.

— А не потерял.

— Сколько бы их ни было, они не знали бы, в какую дверь мы вошли. — Я смотрел на палец Дрона. — Либо им сказали, либо кто-то видел.

Дрон поскрёб бороду левой и ничего не сказал.

— Либо на земле кто-то шёл за нами. Не издалека. Триста метров по городу — это три квартала. Через три квартала видно крыши. Двери не видно.

— То есть он ближе.

— Тот, кто шёл, да. Ближе трёхсот.

Дрон отодвинул читалку и стал смотреть в пол.

— Это из-за меня. — Шёпот вышел почти человеческим. — Я отдал вам это место. Про него никто не знал, а я взял и...

— Подвал они знали. Они знали подвал раньше, чем ты сказал про сырость. — Я искал слова и нашёл только эти. — Если бы ты не отдал, мы сидели бы в подвале, а оно висело бы над подвалом. Всё то же самое, только сыро.

Дрон посмотрел на меня. Плечи опустились на сантиметр.

— Ты это для меня сказал, — проговорил он. — Чтобы я перестал.

— Да.

— Спасибо. — Он вытер ладонь о штанину. — Не перестал.

— Тихо, — сказал он через минуту. — Сова же говорила, месяц тихо.

— Тихо.

— Он очень тихий дрон. Я его месяц знаю и ни разу не слышал.

Шёл второй час ночи. Буржуйка потрескивала осторожно, как человек, который не хочет мешать.

— Кто? — спросил Дрон.

— Давай по списку.

— По какому?

— По тем, у кого есть деньги на такой корпус и время на такое число. — Я достал блокнот. — Лига.

— Лига считает, — сказал Дрон. — Она не смотрит.

— Дикие.

— У Диких из техники дубина. Они триста метров не удержат, они ложку не удержат.

— Остатки Краснова.

— Краснов брал двадцать семь процентов и тратил их на сапоги.

Я вычеркнул три строчки. Бумага шуршала громко, и я прислушался к котлу. Сова не шелохнулась.

— Кодекс, — сказал я.

— Кодекс, — согласился Дрон шёпотом, каким называют человека, который стоит за дверью.

— Кодекс приходит днём, в форме, и говорит «вы задержаны». Ему не нужны дроны над котельной. Мы для Кодекса ошибка в таблице. Он нас не любит, но он нас и не считает.

Я вычеркнул и эту строчку.

— Остаётся тот, кто знает про будку.

Дрон перестал дышать.

— Нет.

— Баркла знает про будку. Про наши списки.

— Про будку знает. — Дрон повернулся ко мне всем телом, и Серёга под мышкой закряхтел пружинами. — Про котельную нет. Я ему писал физраствор, провод, батарейки, масло для петель. Про базу ни слова. Я и вам-то сказал про неё только в день, когда переехали.

Он помолчал, потом спросил тише.

— Ты меня сейчас проверяешь?

— Да.

— Хоть честно.

— Другого у меня нет.

Дрон выдохнул и вернулся к экрану.

— Вычёркивай, — сказал он. — Я бы тоже себя проверил.

Я вычеркнул Баркла при нём. Он смотрел, как идёт черта, до конца, и ещё секунду на то место, где была строчка.

Потом, когда Дрон отвернулся, подчеркнул обратно. Не потому что подозревал. Список без него был бы неполным, а неполные списки я не люблю.

— Хочу знать, там ли он сейчас, — сказал Дрон. — Не взлетая.

Из-под верстака он вытащил ящик размером с хлебницу, из которого торчала проволочная петля.

— Лопух. Слушает, не говорит. Если он передаёт картинку, Лопух услышит. Сам ничего не излучает.

— Дверь приоткрывать можно, — сказал я. — На дежурстве я выхожу на порог каждый час. Это уже входит в картину.

Мы перешли к двери. У двери тянуло холодом из-под порога, и я пожалел, что не надел вторую рубашку.

Дрон приоткрыл дверь на ладонь, вывел петлю в щель, как вывешивают бельё, и стал крутить ручку на ящике. Стрелка на шкале дёргалась. В щель втекал холод, пахло мокрым кирпичом.

Стрелка вздрогнула, упёрлась вправо и встала. Лопух зашипел, как масло на дальней сковороде.

— Вот он, — сказал Дрон одними губами. — Несущая. Видео.

— Откуда?

— С запада. С северо-запада, как-то так. — Он повернул петлю. — Это полгорода. И луч узкий. Я поймал только бок, а если бы стоял на оси, не услышал бы ничего.

Мы замолчали. Стрелка стояла.

Дверь я придерживал плечом, чтобы её не хлопнуло ветром. Пальцы у Дрона на проволоке были белые до второй фаланги.

— Ещё немного, — сказал он.

— Уже.

— Десять секунд.

— Нет.

Он не сразу вытащил петлю. Вытащил, и стрелка упала. Ручку он повернуть не смог, пальцы не гнулись, и ручку повернул я.

— Теперь мы не услышим, если он сдвинется, — сказал он.

— Теперь мы и не покажем, что слушаем.

— Труба, — сказал я. — Мы топим с вечера.

— Я тоже думаю, что её видно, — прошептал Дрон. — Тушить?

— Нет. — Мне хотелось ответить быстро, и я ответил медленно. — Сегодня мы топили. Если сейчас погасим, они увидят, что мы погасили.

Дрон закрыл дверь тихо, как закрывают в доме с больным.

Он посмотрел на дверь, потом на кран у ящика.

— Знаешь, чего я боялся всю жизнь? — прошептал он. — Не когда стреляют. Когда стреляют, хоть понятно, что делать.

— А когда тихо?

— Когда тихо, надо пить чай.

Он вернулся к ящику и налил две кружки, не спросив.

— Что делаем? — спросил он.

— Ничего.

— Совсем?

— Серёга завтра летит в тот же час, тем же маршрутом. Подлетает к нему на столько же, на сколько сегодня. Возвращается. Любопытный Серёга.

— Это издевательство над наукой.

— Тебе интересно ровно настолько, насколько было сегодня.

— Мне интереснее.

— Знаю. Не показывай.

Серёга под мышкой тихо щёлкнул, будто соглашаясь. Дрон погладил его по корпусу левой.

— Ладно, — сказал он. — Полетает.

Он сказал это слишком быстро, и я подождал.

— А может, и не полетает. Месяц можно не летать.

— Нельзя.

— Почему?

— Потому что они увидят, что мы перестали. И начнут искать, что мы нашли.

— Месяц — это тридцать вечеров. — Он сказал это в кружку. — У меня каждый посчитан.

Я не спросил. Он не объяснил.

— Полетает, — сказал он. — Только скажи Кире.

— Что сказать?

— Что видел. Всё. — Он подумал. — Сам. До того, как она возьмёт меня за руку. Она берёт первой.

— Почему до руки?

— Потому что после руки она уже будет знать. И это буду не я.

— Я скажу сам.

— Нет. — Он поднял глаза. — Это мой дрон. Мой вечер. Моё «тихо».

— И это мой дом. Скажу я.

Дрон смотрел на меня долго. Потом поставил кружку.

— Тогда до, — сказал он. — Не после.

— До.

Он кивнул и больше к этому не возвращался.

— А ящик? — спросил он. — Через четыре дня.

— Придёт как обычно. Ты заберёшь его в пять утра, как всегда.

— Но Сова же сказала менять день и место.

— Я написал «сообщу когда». Пока я не сообщил, ничего не меняется.

— Ты это нарочно?

— Нет, — сказал я. — Но теперь нарочно.

— А Сове скажем?

— Когда будем знать, что говорить.

— Она скажет, что говорила про расписание.

— Скажет.

— И будет права.

— Будет. — Я закрыл блокнот. — А потом пойдёт что-то с этим делать, а мне сначала нужно знать, что именно. Двое суток.

— На что?

— Понять, кто из них ближе.

— А Кира?

— Кира не спросит.

— Кира посмотрит, — сказал Дрон. — Это хуже.

Дрон заснул в начале четвёртого, сидя на полу, с картой в левом кулаке. Кран остался у его колена. Серёга лежал на его коленях. Огонёк, которого не было, мигнул один раз и погас.

Я накрыл их одеялом с ящика и вернулся к двери.

В четыре я вышел на порог, как выхожу каждый час. Постоял столько же, сколько стою обычно. Посмотрел на двор, потом на крыши, по очереди, слева направо. На каждой крыше мог кто-то стоять, и ни одного я не видел.

Я не повернул голову к северо-западу ни на градус больше, чем к юго-востоку. Обратно шёл спиной и считал шаги. Сбился на четвёртом.

Когда я вернулся, Кира не лежала, а сидела на ящике, спустив ноги, в сапогах. На коленях у неё лежал бинт, свёрнутый в трубку.

— Вечер кончился, — сказала она шёпотом. — Он не пришёл. Значит, иду я.

Она сказала это не мне. Она сказала это бинту.

Она подошла к нему, села рядом, вытерла ладони о колени, откинула одеяло с его правой руки и взяла её обеими ладонями. Дрон не пошевелился. Дрожали только ресницы.

Минуты две. Лицо у Киры не менялось. Я смотрел, она знала, что я смотрю, и не возражала.

Потом она вернула руку под одеяло, поправила край и повернулась ко мне.

— Он плохо спит, — сказал я.

— Он спит хорошо. Он боится.

— Чего?

— Не знаю. Я вижу, что боится. Чего, не вижу.

— Что в блокноте? — спросила она.

— Что?

— Сегодня.

Блокнот лежал у меня на колене. Я положил на него ладонь. Она подождала две секунды, не больше.

— Трубу не тронешь? — спросила она.

— Нет.

— До утра?

— До утра.

Она встала, подошла к буржуйке и повесила бинт на гвоздь, подальше от горячего железа. Проверила, чтобы низ не касался горячего.

— К утру высохнет, — сказала она в сторону.

Легла она у стены и не сняла сапоги.

— В ящике сухари, — сказала она, уже закрыв глаза. — Съешь два.

Я съел три.

Сове я тоже не сказал. Правило было про ответы: если она спросит, а я решу уклониться, я обязан предупредить, что уклоняюсь. Она не спросила. Я промолчал и знал, что это уклонение.

В щели заслонки красным светилось дежурное. Чай в кружке остыл, я допил его холодным.

Я открыл блокнот на чистой странице и написал сверху «300 ± 5». Подумал и приписал «26 из 26». Ниже написал «Переехал с нами». Ещё ниже «На земле кто-то. Ближе».

Пятая строчка не давалась. Я держал карандаш над страницей, пока не стало холодно пальцам, и загнул угол.

— Он не стеснительный, — пробормотал во сне Дрон и повернулся на бок.

Кира лежала у стены с открытыми глазами. Она видит живое на тридцать метров.

За котлом дышали ровно. Я посчитал вдохи и сбился на третьем.

Крышка от чайной банки лежала на подоконнике. Сухая заварка, ржавый ободок, вмятина от ножа сбоку.

Карта Серяков лежала у меня в блокноте три года, и у каждого дома на ней стояла этажность. Циркуля у меня нет. Я взял крышку от чайной банки, обвёл её вокруг нашей трубы, и круг вышел шире, чем нужно по масштабу. Исправлять не стал.

Внутри круга помещались три квартала, школа без крыши и больше окон, чем можно сосчитать за одну ночь. Я начал с тех, из которых видна наша труба.

ГЛАВА 3. РАСПИСАНИЕ

Из тридцати восьми окон видна наша труба. Из девяти видна дверь. Из шести видна калитка. Из скольких видны и дверь, и калитка, я проверял трижды, потому что ответ был ноль, а ноль на карте выглядит как ошибка в линейке.

Дверь котельной смотрит во двор, калитка на проезд, а между ними глухой бок самой котельной и ряд гаражей. Тот, кто сидит в окне, получает одно из двух. Видит дверь и знает, кто выходит, но не знает, кто идёт к нам. Видит калитку и знает, кто идёт, но не знает, куда он делся.

Значит, он не сидит.

На то, чтобы записать это, у меня ушёл час, и ещё полчаса на то, чтобы согласиться. Сидящий человек очень удобен. Он выбирает окно, окно можно найти, а человека в окне можно выкурить ломом или словом. С сидящим понятно, что делать. С ходящим придётся жить.

Дрон спал на полу, и кулак с картой памяти ходил вверх-вниз вместе с дыханием.

Ходящий в Серяках не прячется, потому что прятаться негде. Район просматривается насквозь: балконы, лестничные клетки, дыры на месте окон, и в каждой дыре кто-то греет чай и смотрит на улицу, потому что больше смотреть не на что. Спрятаться тут можно одним способом, стать одним из них.

Искать надо того, кто на них не похож. Район живёт по свету и по воде. Встаёт, когда светло, стоит в очереди, когда пустили воду, ложится, когда стемнело. Часов почти ни у кого нет, и опоздавших тоже нет.

Я открыл чистую страницу и вывел одну строчку, которая мне самому не понравилась, потому что в ней не было ни одного человека. «Ищу того, у кого есть расписание.» Больше на странице ничего не появилось.

К шести щель над дверью побелела.

Я разогнул спину, и спина ответила хрустом, которого хватило бы на весь двор. За двое суток я спал часа четыре, и ни разу лёжа.

Первым в списке стояло окно на шестом этаже дома напротив, ближе всех к двери. Теперь я знал, что там почти наверняка никого нет. Почти стоило шести этажей лестницы. Карту я заполнял по памяти, и проверять её приходится ногами.

Я допил остывший чай вместе с плёнкой, надел куртку, в которой не на что смотреть, и пошёл.

Подъезд пах мокрой штукатуркой и чужими кошками. Я шёл у стены, где бетон ещё не прогнулся, а этажи считал по цифрам, написанным углём на дверях. Угольные цифры врали. На третьем кто-то дорисовал четвёрку до девятки, чтобы к нему не ходили.

На пятом площадка кончилась раньше лестницы. Ступень села под правой ногой, как садится слежавшийся хлеб, я схватился за перила, и перила пошли за мной вместе с куском стены. Полпролёта я проехал на боку, придерживая стену ладонью, и стена согласилась взять с левой ладони кожу.

Шум в подъезде считается объявлением. Грохот прошёл вверх по всем этажам, вернулся и лёг рядом со мной. Я лежал на площадке и слушал, как дом решает, кто я такой.

Дверь на шестом распахнулась раньше, чем я успел встать.

— Ведро моё! — сказала женщина с половником. — Слышишь? Моё, не отдам!

Ей было под семьдесят, а может, пятьдесят с лишним очень тяжёлых лет. Половник был алюминиевый, вмятый с одного края, и она держала его как вещь, которой уже пользовались по назначению. Уровень прочёлся сам, с привычной задержкой в полсекунды. Три.

— Я не за ведром, — сказал я с пола.

— Все не за ведром. А потом ведра нет.

Я поднялся, держа ладонь так, чтобы кровь капала на мою куртку, а не на её площадку. Это её смягчило. Воры на себя не капают.

— Окно у вас хорошее, — сказал я. — Светлое.

— Светлое, да не сдаётся.

— Я не за комнатой.

— Тут вообще ни за чем не ходят, — сказала она. — Только за ведром, за дровами или за мной.

Я достал из внутреннего кармана пачку чая, которую носил как раз для таких площадок, и положил на уцелевший кусок подъездного подоконника. Больше, чем стоила моя просьба. Люди, которых переплатили, запоминают цену и забывают лицо. Это проверено на всех, кроме Любы.

Она посмотрела на пачку, как смотрят на подарок, в который не верят. Потом отступила, и я вошёл, а половник остался между нами.

Окно было узкое, с занавеской из сетки, которую раньше называли тюлем. Я встал сбоку и увидел нашу дверь. Щель в кирпиче, серая на сером, но видна вся, с порогом. Калитка спрятана за боком котельной. Карта не соврала ни в одном углу, и это было первое, чем я остался недоволен за сегодня.

— Котельная топится, — сказал я голосом человека, у которого свой интерес. — Печник я. Тяга у них, видать, слабая.

— Хорошая у них тяга, всю ночь гудит. — Она села на табурет, не выпуская половник. — Кто-то живёт. Я не мешаю, он не мешает.

— Ночью кто туда ходит?

— Никто не ходит. Выходит. Каждый час на порог, как кукушка в часах. Я по нему и ложусь.

Это был я. Я стоял в её комнате и слушал, как мой план превращается в чужие часы. Расписание завёл я сам. Раз в час на порог, дверь на ладонь, чтобы нас привыкли видеть. Район тут же приспособил это к делу. Что повторяется, то и часы.

Я задал ей ещё шесть вопросов. Пять про трубы, воду и голубей, которых она держала на балконе, и один про шаги. Шаги я поставил четвёртым, между голубями и водой, и спросил ровно так, как спрашивают про голубей.

— А по вечерам тут шумно? Под окнами?

— Каблук ходит, — сказала она. — Без двух девять туда, без четверти десять обратно. Ровный такой, заводной. По нему суп снимать можно.

— Каблук?

— Каблук. Лица не видела, а шаг знаю лучше своего. — Она махнула половником. — Про голубей ты не дослушал.

Я дослушал про голубей. Это было дорого, и в голубях я теперь разбираюсь лучше, чем хотелось бы.

Остальные восемь окон заняли два часа сорок минут.

Три пустые комнаты, две, где вместо жильцов жили голуби, мужчина, спавший с топором в обнимку, и два окна, в которые я стучать не стал, потому что за дверью кто-то громко и методично молился. Ни оптики, ни подставки, ни следа того, что здесь сидят ради нашей двери.

Я поставил девять галочек и потерял всё утро.

Ладонь я замотал рукавом. Было почти десять. Спрашивать про новых людей, ничего не спрашивая, я умею в одном месте. Я пошёл к Любе.

У трёх дворов Люба держит чайник на печке из железной бочки, а прилавком служат две двери, положенные на козлы. Утром тут не протолкнуться. К десяти остаются те, кому спешить некуда, и сама Люба. Она сидела на ящике и штопала носок, глядя на улицу поверх иглы.

— Пропал, — сказала она вместо «здравствуй». — Совсем пропал. Садись.

Я сел с краю, спиной к кирпичу, лицом ко всем трём аркам. Люба посмотрела на мою руку, потом на меня, потом снова на руку.

— Лестница?

— Лестница.

— Она всегда права. — Люба отложила носок. — Дай сюда.

Повязку она переделала быстро и без разговоров, чистой тряпкой, туго, как делает человек, которому не впервой. Я заплатил за чай и сверху. Люба посмотрела на то, что я положил, и промолчала.

Про дрова, про воду, про цену на сахар и про собак, которых у неё стало больше, я спросил по очереди. Про новых людей спросил пятым, как про погоду.

— Новые? — Люба перекусила нитку. — Женщина с девочкой, из-под Лосинки, пустили к Рыбаковым в кладовку. Двое строителей со своей палаткой, про всё спрашивают, ничего не берут. И Немой.

— Строители, — сказал я. — А платят чем?

— Тем, что нашли. — Она помолчала и сама дошла туда, куда я не шёл. — Немой чудной. Ты не думай, он не немой. Просто не отвечает.

— Это как?

— Приходит без пятнадцати восемь. Каждый день, ни разу не опоздал, я по нему чайник ставлю. Кипяток берёт в свою кружку и кладёт ровно, сколько надо, ни крошкой сверху, сдачи не ждёт. Я ему «доброе утро». Он смотрит так, будто сейчас извинится, и молчит. А на руке часы. Настоящие, ходят. Я спросила, сколько натикало. Опять молчит, только глаза опускает. Как будто ему велели.

— Давно он у вас?

— Дней десять. Может, меньше, я не записываю. — Люба положила носок. — Артём. Ты три года пьёшь у меня чай и ни разу не спросил, кто у нас новый.

— К осени, — сказал я. — Хочу знать, у кого печки.

— У кого печки. — Она повторила это без выражения. — Про строителей ты спросил, чем платят. Про женщину с девочкой ничего. А когда я заговорила про Немого, ты перестал смотреть на чайник и стал смотреть на меня.

Спросить про строителей, а слушать про чудного я умею. Скрыть, что слушаю, получается хуже.

— Не моё дело, — сказала Люба. — Он безобидный. Если это про него, то у меня с ним чисто, и пусть так и остаётся.

— Это не про него.

— Конечно. — Она взяла носок. — Молодой, лет под тридцать. Волосы светлые, прямые, аккуратные, у нас так не стригутся. Оружия не видела, руки пустые и чистые. А глаза такие, что ничего не умеют прятать. Такому в долг дашь не глядя: сразу видно, вернёт.

Я допил чай. Утром без пятнадцати восемь кипяток у Любы, вечером без двух девять каблук под окном у женщины с половником. Два места, два времени, и ни одного доказательства, что это один человек. Зато у обоих есть то, чего нет у района. Они знают, который час. Район уже сверяет по ним часы и не замечает, что сверяет.

— Приходи завтра пораньше, — сказала Люба, не поднимая головы. — К без пятнадцати. Я на тебя тоже чайник поставлю.

— Приду.

Я встал. Ладонь под новой повязкой уже не кровила.

— И лицо поменяй! — крикнула Люба мне вслед. — С таким лицом приходят за долгом.

До вечера я проспал три часа в сорок третьей квартире и ещё два пролежал с открытыми глазами, потому что ладонь ныла в такт.

К половине девятого я был на базе. Дрон готовил Серёгу к вылету, Сова сидела у печки спиной к стене, Кира лежала у стены с закрытыми глазами. Они не спрашивали, я не рассказывал. Мы все делали вид, что так и надо, и получалось у нас примерно одинаково плохо.

Без пяти девять я вышел на порог. Дверь открыл на ладонь, как открываю каждый час вторые сутки, и встал так, чтобы свет печки лёг мне на плечо. Меня должны были увидеть таким, каким привыкли.

Двор был серый и мокрый. Лужа у стока дрожала, когда ветер двигал в ней небо. Калитка стояла закрытая, в двадцати восьми метрах от порога. Напротив, на шестом этаже, горело окно, и женщина за ним, наверное, как раз укладывалась по мне.

Я слушал город. Работа не для тех, у кого есть другие дела.

Без двух девять пришёл каблук.

Сначала я принял его за капель. Потом капель оказалась слишком ровной. Твёрдый каблук по бетону, шаг за шагом, без спешки и без задержки, как будто человек идёт по линейке, которую кто-то положил на землю до него. Звук шёл со стороны проезда, метров с сорока, по эху от стены. Дальше, чем достаёт Кира. Каблук прошёл вдоль проезда, ни разу не сбившись, и ушёл за угол.

В девять над крышей поднялся Серёга. Тусклый огонёк там, где лампочки нет. Он обогнул школу и пошёл по кругу тем же маршрутом, что вчера, ни на метр в сторону. В трёхстах метрах от него висело то, чего я не видел и не слышал, и висело оно так же аккуратно, как шёл каблук.

Это совпадение мне не нравилось. Проверить его можно было одним способом. Сломать расписание и послушать, кто удивится.

Я вернулся в котельную. Часов у меня нет, и я спросил у Дрона, сколько натикало.

— Без двадцати, — сказал Дрон. Серёга вернулся и остывал у него на коленях.

Пять минут я просидел над блокнотом, не написав в нём ни слова.

Без четверти десять я вышел на порог. Дверь открыл настежь, и свет печки лёг по двору жёлтой дорожкой до самой калитки. Меня на пороге в это время не бывает. Тот, кто смотрит на нашу дверь по часам, знает это не хуже женщины с половником.

Каблук возвращался.

Я услышал его раньше, чем угол, за которым видна наша дверь. Ровные шаги, всё те же. Потом они дошли до угла.

Потом их не стало.

Я не повернул головы. Смотрел в небо, как смотрит человек, которому нечего скрывать от неба, и слушал тишину, в которой что-то решали. Четыре вдоха. Никто не бежал, не щёлкал и не доставал ничего тяжёлого, и это уже было информацией.

Каблук пошёл дальше.

Прежним шагом, не быстрее и не медленнее, будто за четыре вдоха ничего не случилось. Тот, кто умеет прятаться, сменил бы шаг хотя бы на полшага. Любая перемена была бы ответом. Этот ответа не придумал. Он вернулся в расписание, как возвращаются на своё место в строю.

Я простоял на пороге ещё минуту, потому что уйти сразу было бы моим ответом. Потом закрыл дверь, сел и записал: «21.45. Встал. 4 вдоха. Пошёл прежним шагом».

Последние три слова подчеркнул дважды.

Руки хотели занятия, и я поставил чайник.

Люба поставила чайник на меня к половине восьмого и сделала вид, что это совпадение. У трёх дворов в этот час не продохнуть. Ведра, термосы, люди, которые говорят вполголоса, потому что голос ещё не проснулся. Я сел с краю, спиной к кирпичу, лицом к чайнику. Сегодня мне нужно было выглядеть человеком, который смотрит в кружку.

— Поменял, — сказала Люба, не оборачиваясь.

— Поменял.

— Хуже стало.

Она налила мне чаю и положила рядом кусок хлеба с чем-то тёмным, чего я не просил. Спорить с этим было дороже, чем съесть.

Без двадцати восемь я знал в очереди всех. Мужчина, который мыл руки в чужой воде, потому что своей нет. Три женщины. Девочка с ведром, которое она держала двумя руками, как держат щенка, которого вот-вот отнимут. Цифры вышли такие, какими им и положено быть в Серяках: тройки, пятёрки, одна девятка. У Любы выше девяти не поднималось никогда.

Без пятнадцати очередь переменилась. Никто не обернулся и никто не замолчал, просто в ней появилась пустота шириной в одного человека, и очередь вокруг этой пустоты слегка подалась, как подаётся вода вокруг камня. Так делают место тому, кого не любят и не трогают.

— Немой, — сказали сзади голосом, каким говорят «дождь».

Я услышал его раньше, чем увидел. Каблук по бетону, три шага от арки, ровно. Потом он встал в очередь на пустое место, и я сделал то, что можно делать один раз, а на второй это уже вопрос. Я посмотрел.

Худой, среднего роста. Волосы светлые, прямые, острижены ровно, как стригут тех, кого стригут по часам. Лицо без примет, такое запоминаешь именно потому, что запоминать нечего. Куртка цвета района, руки пустые, оружия не видно. На левом запястье часы.

Потом пришла задержка, и число встало в голове, как гвоздь. Пятьдесят один. Следопыт. За классом шло ещё слово, но он уже брал кипяток, и дочитывать я не стал. Дочитывающий человек смотрит слишком долго.

У Краснова выше тридцати ходили только силовые группы. Здесь пятьдесят один стоял в очереди за кипятком.

— Доброе утро, — сказала Люба.

Он не ответил. Лицо при этом сделало то, что у людей обычно делает рот: оно извинилось. Глаза ушли вниз и в сторону, плечи повинились на миллиметр, и вся конструкция говорила «простите, нельзя». Люба налила кипяток в его кружку. Он положил на доску ровно столько, сколько стоит кипяток, не считая вслух, и сдачи не ждал, потому что сдачи не было.

Я глотнул горячего, обжёг язык и не поморщился. Это стоило мне больше, чем сам ожог. В трёх шагах от моего левого плеча стоял человек на полсотни уровней выше меня, и я чувствовал каждый из них затылком.

Он повернулся, чтобы уйти, и мы встретились глазами.

Он посмотрел положенные две секунды, как смотрят на любого, кто стоит на пути. Так же он смотрел на Любу, на девочку с ведром, на очередь. Если он меня знал, лицо этого не показало. Виноватость он носил как форму.

Потом ушёл. Каблук отсчитал двенадцать шагов, вошёл в третью арку и пропал. Очередь выдохнула.

— Видал? — сказала Люба. — Ни слова. А я ему ещё сахару хотела.

— Видал.

— Чай остыл.

Он остыл. Я допил его до дна, чтобы руки были заняты, и поставил кружку так аккуратно, что она даже не звякнула.

— Лицо ты поменял, — сказала Люба, когда я вставал. — Только зря. Теперь у тебя такое, будто ты видел покойника.

— Я видел нового.

— В Серяках это одно и то же, — сказала она и потянулась за следующей кружкой.

Две точки дают привычку, три дают шаг. Без пятнадцати восемь утром, без двух девять вечером, между ними тринадцать часов тринадцать минут. Середина приходится на четырнадцать двадцать одну. Если он ходит по часам, а не по настроению, в середине дня он тоже

придёт смотреть на нашу дверь. Лучше всего её видно от арки чужого двора, а арку лучше всего видно с шестого этажа.

Часы мне дал Дрон. Он снял их с запястья, не спросив, зачем, и это было хуже, чем если бы спросил.

Окно Тамара Ильинична продала мне на час за вторую пачку чая. Назвала себя сама, без вопроса: «Тамара Ильинична, раз уж ходишь». Лицо моё она запомнила. Значит, теория про переплаченных, которые забывают лица, имела исключение, и жило оно на шестом этаже.

Я встал сбоку от занавески. Внизу была арка чужого двора с лавкой без спинки. Левее и выше, на западо-северо-западе, у самого края моего круга, стояла школа без крыши, и над ней было небо. Просто небо, серое, без птиц. Я смотрел на лавку и на небо и держал в голове стрелку Лопуха, которая показывала туда же.

Я ждал его в четырнадцать двадцать одну. Он вошёл в арку в двадцать минут третьего.

Я посмотрел на часы Дрона. Ровно.

Ошибся я, а не он.

Он остановился у лавки, но не сел. Минуту смотрел на нашу дверь. Ни разу не повернул головы к окнам. Тот, кто привык, что за ним смотрят, смотрит на окна всегда. Этот не привык. Он был уверен, что в спину ему не смотрят, а в Серяках так бывает только у тех, кто не отсюда.

Через три минуты он повернул голову на запад-северо-запад и посмотрел на небо над школой. Шесть секунд. Там ничего не было. То, что там висело, было холодным и бесшумным и не просило, чтобы его видели. Он смотрел на это пустое место так, как смотрят на кастрюлю, оставленную на плите. Без тревоги, с хозяйским интересом.

Потом он достал из внутреннего кармана блокнот, поменьше моего, и написал одну строчку карандашом, нажимая сильно, как пишут люди, которых никто не торопит. Убрал. Поправил часы на левом запястье, хотя они не нуждались в поправке. В двадцать восемь минут третьего вышел из арки прежним шагом.

Стрелка Лопуха и его голова показывали в одну сторону. Когда две независимые вещи показывают в одну точку, там обычно что-то есть.

Тамара Ильинична стояла за моей спиной с половником и дышала мне в ухо.

— Каблук, — сказала она. — Хороший. Без него у меня обед сгорает.

— Давно вы его слушаете?

— Как пришёл, так и слушаю. — Она подумала. — И кукушку, и каблук. Больше у меня часов нет. Ты их не обижай.

— Я не обижаю.

— Все так говорят. — Она отобрала у меня занавеску, которую я, оказывается, держал в кулаке. — Занавеска одна.

Часы я вернул Дрону вечером. Каблук прошёл и вернулся в те же минуты, как будто накануне ничего не менялось, и слушал я его уже так, как слушают часы в соседней комнате.

Ночью я не пошёл в сорок третью. Остался на базе и сел с блокнотом. К трём часам на чистой странице у меня стоял весь он, мелким почерком. Лет двадцать девять. Худой. Волосы светлые, прямые. Лицо честное до неудобства. Часы на левой руке. Оружия нет, или я его не вижу. Пятьдесят один, Следопыт. Не отвечает, когда говорят. Одну строчку в день пишет карандашом, в двадцать пять минут третьего.

Всё это не складывалось. Те, кого я вычёркивал из таблицы, умели прятаться или убивать, а чаще то и другое. Этот не умел ничего из перечисленного. Он ходил по часам в районе без часов, платил без сдачи, смотрел в пустое небо при свидетелях и молчал, когда с ним говорили, потому что, судя по лицу, ответить мог только правдой.

Печка щёлкнула, остывая.

Такого не подсаживают, чтобы он остался незамеченным. Либо я ошибся в таблице и в ней не хватало строки, либо его вписали в неё нарочно, чтобы я его нашёл. Второй вариант

мне нравился меньше. Из него следовало, что кто-то заранее знал, сколько времени мне понадобится.

Сова встала без десяти четыре, раньше, чем ей надо было, и это уже было сообщением. Села напротив, на ящик из-под угля, положила ладони на колени. Дрон спал на полу, Кира лежала у стены. Они или спали, или хорошо притворялись.

— Срок вышел, — сказала Сова.

— Через сорок минут.

— Я слышала ту ночь. Триста метров, двое суток. — Она смотрела на печку. — Ждала, что скажешь сам. У тебя правило: отвечать, когда спрашивают. Я не спрашивала. Это было удобно.

— Мне тоже.

— Теперь спрашиваю. Кто он?

Правило честности допускало «не знаю». Имени я не знал, мотива не знал, и на любой её вопрос у меня нашёлся бы честный ответ из двух слов. Я им не воспользовался.

Я рассказал за четыре минуты: окна, шаги, Люба, арка, цифра. Сова слушала, не перебивая, как слушают сводку. Дважды кивнула, один раз прикрыла глаза, на цифре.

— Один?

— Один. Ходит по часам. Утром у Любы за кипятком, днём в арке, вечером в проезде.

— Вооружён?

— Не вижу.

— Кто его ставит?

— Не знаю.

— Ты знал, что он есть, двое суток.

— Знал, что кто-то есть. Теперь знаю, кто.

— Для меня это одно и то же, — сказала она.

Я развернул к ней блокнот. Она прочла страницу за три секунды, как читают люди, которым не нужно перечитывать, и подняла голову.

— Где он спит?

— Не знаю. Знаю, когда и где он ходит.

— Этого достаточно, — сказала Сова.

ГЛАВА 4. СОВА: УСТРАНИТЬ. АРТЁМ: ПОДОЖДЁМ.

Сова читала мою страницу дольше, чем нужно человеку, который умеет читать быстро.

Печка гудела. Карандаш лежал поперёк блокнота, и грифель от тепла стал мягким.

— Устранить, — сказала она.

— Подождём.

— Чего?

— Того, что он сделает. Мы знаем, где он ходит. Не знаем, зачем.

Сова положила страницу на колено и разгладила её ладонью. Бумага была из её запаса, плотная, с водяным знаком, которого я не разбирал.

— Зачем — это его работа, — сказала она. — Наша — чтобы он перестал.

— Он не перестанет. Он сменит шаг.

— Сменит — увидим.

— Увидим. И что?

— И тогда устраним.

— Тогда будет поздно.

Кира у стены держала кружку обеими руками. Пар шёл у неё перед лицом, и она смотрела сквозь него на печку. Дрон наверху уронил что-то железное, выругался и поднял.

— Пятьдесят один, — сказала Сова. — Ты сам назвал цифру.

— Назвал.

— И после этого предлагаешь ждать.

— После этого и предлагаю. Пятьдесят один не ходит в очередь за кипятком, если ему нужен кипяток. Он ходит, если ему нужно, чтобы его видели.

Сова взглянула на меня, будто проверяла, слышу ли я сам, что говорю.

— Или если ему нужно, чтобы его не видели за делом, — сказала она. — Пока все смотрят на очередь.

На странице было четыре времени, цифра и слово. Четыре времени я проверил ногами, цифру и слово — глазами. Пятьдесят один, Следопыт. Я записал это отдельно, в угол, чтобы не путалось с расписанием.

Я не нашёлся сразу. В очереди он действительно стоял на виду. Пустые руки, часы на левой, лицо, которое извиняется. Такого показывают, когда хотят, чтобы запомнили лицо и не смотрели на руки.

— На обращения не отвечает, — сказал я. — Лицо делает вид, что извиняется.

— Значит, ему велели молчать, — сказала Сова.

— Или он не умеет врать.

— Допустим, не умеет, — сказала она и повернула страницу к огню. — Тогда молчать ему велели. А кто велит, тот платит.

— У любого, кто ходит по часам, есть заказчик, — сказал я.

— Заказчик не отступит, — сказала Сова. — Люди с деньгами не любят менять планы из-за одного района.

— Люди с деньгами не любят платить за труп, который соберёт весь район.

Сова усмехнулась одним углом рта. Я эту усмешку знал.

— Ты предлагаешь считать его мебелью, — сказала она. — Пока он ходит, мы записываем. Когда он сядет, будет поздно.

— Я предлагаю считать его работой. Он ещё не начал.

— Он начал в тот день, когда встал в очередь.

Спорить было нечем. Я мог сказать, что очередь — это ещё не дело, что человек за кипятком не готовит ничего, кроме чая. Оба довода были честными и оба ничего не стоили.

Наверху снова лязгнуло. Дрон ходил по железу, как по своему столу, и железо отвечало ему неохотно.

Я подбросил угля. Огонь взялся сразу, и жар лёг на лицо. За спиной тянуло холодом от двери, и это было единственное, что в котельной работало без перебоев.

— Дрон не знает? — спросила Сова, не понижая голоса.

— Не знает.

— Кира?

Кира не повернула головы. Она держала кружку у самого подбородка, будто грела не чай, а руки. Пар оседал на подбородке и на воротнике. Она не вытирала.

— Слышала, — сказала она.

— И?

— Он не любитель.

Сова кивнула, будто этого и ждала. Спрашивать было нечего.

До половины девятого мы не сказали друг другу ни слова. Сова сидела у стола и смотрела на страницу. Я чинил заслонку, которая не была сломана. Кира ушла к себе и вернулась с кружкой. Дрон наверху затих, и тишина от этого стала громче. В котельной пахло остывающим углём и мокрой тряпкой.

В половине девятого Сова достала нож.

Она разложила на тряпке три части: клинок, рукоять, шарнир. Стала чистить шарнир кончиком тряпки, и в котельной запахло маслом.

Нож был старый, с выщербленным лезвием. На шарнире держалась ржавчина, и она сходила серой кашицей. Сова чистила не спеша, как чинят инструмент, которым работают каждый день. Масло наливала на тряпку, а не на металл. Иначе масло попадает на рукоять.

— Он не любитель, — сказала она, не поднимая головы. — Любители не ходят по часам.

— Тогда он ждёт не нас. Он ждёт команды.

— Или ждёт, пока мы расслабимся.

Металл щёлкнул. Сова собрала нож, проверила ход и положила его на стол, к стене, рукоятью ко мне.

— У нас нет сил, — сказал я. — И нет информации.

— У нас есть время и лицо.

— Время есть. Адреса нет. Он приходит откуда-то и уходит куда-то.

— Уходит — значит, есть куда.

— Есть. Половина района.

Я знал, куда он уходит: за угол, мимо гаражей, к путям. Дальше начиналась зона, где я не считал домов, потому что там не было домов, а были склады и насыпь. Человек с расписанием мог жить в любой из трёх сторон.

Сова вытерла руки о тряпку. Тряпку сложила вчетверо и положила рядом с ножом.

— Если ждать, — сказала она, — он соберёт больше, чем расписание. Приведёт второго. Снимет комнату напротив. Поставит машину у путей.

— Если убить, — сказал я, — у нас будет труп в районе, где все знают, кто ходит к Любе за кипятком.

— Труп можно не оставлять.

— Можно. Слух останется. Слух в Серяках ходит быстрее человека.

— Слух — это дым. Дым не стреляет.

Она сказала это ровно, без нажима.

Я посмотрел на нож. Лезвие лежало на тряпке и отражало огонь узкой полосой. Сова не взяла нож в руки — металл она держала через тряпку.

— У него пятьдесят один, — сказала Сова. — У тебя ноль. У меня сорок с небольшим. У Киры тридцать один. Ты предлагаешь троим считать человека, который может стереть нас из списка.

— Я предлагаю не подходить.

— Он подойдёт.

— Тогда мы увидим, как он подходит.

Сова накрыла ладонью край стола рядом с ножом. Не нож. Рядом.

— Ты хочешь, чтобы я ждала, пока он подойдёт на расстояние, с которого он не промахнётся.

— Я хочу знать, зачем он идёт.

— Зачем — не наша часть.

— Зачем — единственная часть, которая даёт имя заказчику.

Она подняла голову. В печке треснул уголь, и она не отвела глаз.

— Дай мне три дня, — сказал я.

Сова взяла тряпку и провела ею по лезвию. Ткань треснула под её пальцем. Она не посмотрела на трещину.

Трещина прошла по самой середине. Сова свернула тряпку так, чтобы её не было видно.

— Зачем?

— Три сигнала. Если он подходит ближе к двери — раз. Если появляется второй — два. Если меняется шаг или маршрут — три.

— И что будет на третий?

— Я сам скажу: пора.

Сова глянула на нож. Потом на меня.

— Ты хочешь, чтобы я дала тебе три дня на надежду.

— Я хочу, чтобы ты дала мне три дня на проверку.

— Это одно и то же.

— Надежда не пишет время.

Сова долго молчала. В трубе гудело, и гул менялся, когда ветер поворачивал. Я слышал, как наверху Дрон отложил инструмент и тоже замолчал. Он не слышал слов, но слышал тон.

Сова встала. Прошла до печки, поправила заслонку, хотя та была на месте.

— Я подумаю до утра, — сказала она.

— До утра он выйдет дважды.

— Значит, у тебя будет два сигнала.

Она легла у стены, лицом к двери. Нож остался на столе. Я сидел и слушал, как в трубе гудит ветер.

Я не спал. Лежал с открытыми глазами и слушал, как остывает печка. К трём часам в котельной стало холодно, и я подбросил ещё одно полено, хотя обещал себе не вставать.

Без четверти десять я вышел во двор и встал у угла, откуда видны арка и лавка.

Фонарь горел над аркой и висел в луже жёлтым пятном. Асфальт был мокрый, хотя дождя не было. Из водосточной трубы капало, и каждая капля попадала в лужу отдельным звуком.

Наблюдателя не было.

Я проверил арку, лавку и окно на шестом этаже. В окне горел свет, и за занавеской двигалась тень. Тамара Ильинична не спала. Дольше, чем нужно, я не смотрел.

В третьей арке на кирпиче была свежая меловая черта. Вчера её не было. Я провёл по ней пальцем, и мел остался на подушечке. Я вытер палец о штанину.

Мел был сухой.

Без четверти десять он не пришёл. Впервые с тех пор, как я начал считать. Я достал блокнот и записал время, потом перечитал и подчеркнул. Подчёркивать было нечего, но рука просила.

В блокноте уже была страница с его временем. Я открыл её и провёл пальцем по строчкам. Утренняя очередь, дневная арка, вечерний проезд. Между третьей строчкой и краем страницы было пусто.

Дверь котельной открылась. Кира вышла на порог, постояла, глянула на фонарь и подошла. Куртка у неё была настежь, будто она выскочила на минуту.

— Он не придёт сегодня, — сказала она.

— Почему?

— Потому что уже понял, что его посчитали.

— Или потому что получил команду.

Кира глянула на часы. Я поймал движение и не смотрел на её руку.

— Тогда он тоже ждёт, — сказала она.

Я записал оба варианта. Второй был хуже.

Слушал, как капает вода. В какой-то момент мне показалось, что шаги будут. Не каблук, а мягкая подошва, которая не хочет быть услышанной. Я повернул голову. Двор был пустой, и в луже стоял фонарь.

Кира стояла рядом, пока капля не упала три раза. Руки она не прятала в карманы, плечи поднялись к ушам. Куртка была настежь. Потом она повернулась и пошла обратно. Дверь оставила открытой. Свет из котельной лёг по мокрому асфальту, и в нём стало видно, что двор пустой.

Я простоял до без десяти одиннадцать. Потом вернулся и закрыл дверь.

Наутро в десять минут девятого у трёх дворов стояла очередь.

Шесть человек и девочка с ведром. Пар от бочки шёл вверх и растворялся в сером небе. У бочки натекла наледь, и девочка ставила ведро в неё, чтобы не текло по ногам. Третья арка была пуста, и я смотрел в неё дольше, чем в очередь.

Я знал, что она пуста. Вчера в ней стоял человек, и теперь я смотрел в арку раньше, чем на бочку.

— Ночью по путям ходили, — сказала женщина в брезентовой куртке. — С фонарём.

— Не с фонарём, — сказал мужчина за ней. — Просто стоял.

— Как это — стоял?

— Ногами.

Женщина фыркнула. Мужчина промолчал. В очереди засмеялись, но не все.

— Машина была, — сказала третья. — У насыпи. Я слышала, как дверца хлопнула.

— У насыпи рельсы. Там всегда что-то хлопает.

— Рельсы не хлопают дверцей.

— И не один он был, — сказала женщина в брезентовой куртке. — Я двоих видела. Второй у столба стоял.

— У какого столба?

— У водокачки.

— Там столбов нет.

Женщина отвернулась к бочке.

Спор ушёл в сторону: кто-то вспомнил, что у насыпи давно не ходили поезда, кто-то — что поезда ходят, но не останавливаются. Очередь подобралась ближе к бочке. Женщина в брезентовой куртке держала свою кружку двумя руками, как держат горячее.

Я дописал «Второй? Водокачка» и поставил вопрос. В сигналы это не шло.

Люба наливала кипяток и не поворачивала головы. Половник лежал у неё под рукой, на доске.

— Ты стал задавать много вопросов, Артём, — сказала она, когда очередь сдвинулась.

— Считаю.

— Считай тише.

Она поставила передо мной кружку. Я положил рядом пачку чая. Люба перевела взгляд на пачку, потом на меня.

— Долг за тобой, — сказала она. — За информацию. Я помню.

— Помню.

— Хорошо. — Она убрала пачку под прилавок. — Тогда слушай бесплатно. Сегодня Немого не было. Утром не приходил.

Она наливала кипяток ровно, не расплёскивая. Руки были красные от пара, и она не отдергивала их. Я давно заметил, что Люба не отдергивает руки ни от пара, ни от чужих слов.

— А вечером?

— Вечером я не смотрю за угол. Мне за это не платят.

Очередь снова заговорила про машину. Женщина в брезентовой куртке утверждала, что видела двух людей, мужчина за ней — что одного. Третья сказала, что люди были не у путей, а у водокачки. Все три версии сходились в одном: за путями появились чужие.

— А строители? — спросил я.

— Строители как строители. Ходят, смотрят, ничего не берут. — Люба помолчала. — Один спросил, кто живёт в котельной. Я сказала: никто.

— Спасибо.

— Не благодари. Я сказала правду. Котельная не жилая.

Она сказала это так, будто котельная была её собственностью. Может, и была: в Серяках это решается при свидетелях, а не на бумаге.

Я взял кружку. Чай был горячий, и руки от него стали мокрыми.

— Ты бы спросил про женщину с девочкой, — сказала Люба.

— Спрошу.

— Не спросишь. Ты спрашиваешь про тех, кто может ходить по расписанию.

Она сказала это не поднимая глаз от бочки. Я поставил кружку на доску. Чай был крепкий, и на дне лежала чаинка. Не вылавливал.

Я промолчал. В третьей арке по-прежнему никого не было.

Я шёл к котельной через двор, где сушилось бельё. Простыни висели тяжело и пахли мылом. Под одной я остановился и посмотрел на третий двор. Там никого не было.

В половине первого Дрон сидел наверху с платой.

Люк был открыт. Пахло канифолью и горячим металлом. В луче света, который падал через щель в крыше, висела пыль.

Плата лежала у Дрона на коленях, и он держал паяльник так, как держат ложку. Руки у него были спокойные, а рот работал без остановки, хотя я не слышал слов.

— Ты всё время смотришь на часы, — сказала Кира.

Она сидела на ящике у верстака и чистила какой-то инструмент. С рукоятки она срезала старую изоленту и наматывала новую — виток к витку, отступая на палец. Я не заметил, когда она вошла.

— Надо.

— Не надо. Ты смотришь на них, когда не надо.

Она сказала это без укора. Просто назвала факт, как называют температуру воды.

— И что?

— У него часы на левой, — сказала Кира. — Значит, он правша.

— С чего ты взяла?

— Часы на левой. И шаг с левой ноги, когда он шёл от арки.

Я положил блокнот на колено.

— Это ничего не даёт.

— Это даёт одно. Он не левша, который прячет руку.

— А если он просто носит часы на левой?

— Тогда он правша, который не прячет руку. Разница небольшая. Но она есть.

Спорить было не о чем. В её словах был смысл, которого я не видел, и я не хотел его вытаскивать силой. Кира говорила так, когда уже решила, что скажет дальше. Если её торопить, она замолкала.

Наверху Дрон уронил отвёртку. Отвёртка прошла между балками и воткнулась в мешок с тряпками.

— Вы про кого? — спросил он, свесившись.

— Про часы, — сказала Кира.

Она сказала это раньше, чем я успел. Врала она ровно, без паузы.

Кира не смотрела на меня. Она держала инструмент так, будто он был тяжелее, чем есть.

— Часы — это хорошо. У меня сломанные. — Он посмотрел на нас, потом на Киру, потом снова на плату. — Ладно. Я не слышал.

Он сказал это громко, чтобы мы услышали. Дрон умел врать только в одну сторону. Он предупреждал, что врёт.

Он убрался наверх. Кира вернулась к инструменту.

— Спасибо, — сказал я.

— Я не люблю врать, — сказала она.

— Я знаю.

Кира откусила изоленту и пригладила край ногтем большого пальца.

Сверху упала батарейка и стукнула о верстак. Кира поймала её, не глядя.

— За молчание, — сказал Дрон.

— Я не беру взяток.

— Это не взятка. Это батарейка.

Батарейка была тёплая.

Кира положила её в карман жилета. Потом достала и переложила в карман куртки, поближе к телу.

Совы не было. Она ушла к Баркле ещё утром и не вернулась.

Я дописал в блокнот. «Часы на левой. Шаг с левой. Правша». Точку не поставил.

Я посмотрел на страницу. Между строчками оставалось место.

В двадцать минут восьмого Сова вернулась с ящиком.

Ящик был тот же, фанерный, с облупленной наклейкой. Сова поставила его на пол и сдвинула крышку. Внутри лежали батарейки, соль, спички в промасленной бумаге и ещё что-то, чего я не разглядел.

Сова вынимала вещи по одной и ставила на стол. Батарейки, соль, спички. Каждую вещь она ставила отдельно, не кучей. Так проверяют, всё ли на месте.

— Чая нет, — сказала Сова. — Вместо него вот.

Она достала конверт. Конверт был серый, без надписи. Внутри лежала одна строка, написанная ровным школьным почерком: «Цена изменилась. Ждите.»

— Что это значит? — спросил я.

— Что Баркла не решает. Он передаёт.

— А кто решает?

— Пока не знаю. Но они торгуются. Торгуются те, кто не может приказать.

Я взял конверт. Бумага была плотная, с шершавым краем. Строка была короткой, и в ней не было ни имени, ни подписи. Я прочитал её дважды и не нашёл, за что зацепиться.

Сова забрала у меня конверт, сложила вдвое и убрала во внутренний карман.

— Зачем? — спросил я.

— Пригодится.

Наверху Дрон передвинул что-то тяжёлое. Потом свесился.

— Чай кто забрал?

— Баркла, — сказала Сова.

— Передай ему, что я обиделся.

— Передам.

Дрон исчез. Сова посмотрела на карман, потом на меня. В её взгляде не было вопроса. Она ждала, что я скажу первым.

Сова закрыла крышку ящика. Медленно, будто проверяла, что она сядет ровно.

— Пусть ждут, — сказала она.

Я не сразу понял, что она сказала это мне. Она смотрела на ящик.

— Три дня, — сказал я.

— До вечера, — сказала Сова.

Она поставила ящик на место, к стене, и села у печки.

Я сел напротив. Огонь в печке стал ниже, и тени на стенах вытянулись. Где-то наверху Дрон снова взялся за плату, и паяльник зашипел.

Без двадцати одиннадцать я вышел на порог.

Ночь была тёплая, но от бетона тянуло холодом. Фонарь над аркой горел, и в его свете было видно, что двор пустой.

Я постоял, пока глаза привыкли. Потом прошёл до калитки и проверил засов. Он был закрыт. Я не помнил, кто его закрыл.

Второй вечер подряд он не появлялся. Я прошёл до угла, где стоял утром, и вернулся. Подошвы оставляли на бетоне тёмные следы, и они блестели в свете фонаря.

Сова сидела на крыше, свесив ноги в люк. Я не слышал, как она туда забралась.

— Второй, — сказала она.

— Второй.

— Значит, он не тебя ждёт.

— Или ждёт команду.

— Или команду.

Она спустилась и встала рядом. От неё пахло пылью и чем-то ещё, чего я не знал. Она стояла близко, но не настолько, чтобы это что-то значило. Я смотрел на двор, она тоже.

— Они написали «ждите», — сказала Сова. — Значит, и им нужны дни. Три дня. Три сигнала. Потом решаю я.

— По факту?

— По факту. Не по расчёту.

— И скажи мне до, а не после.

— Скажу.

Мы постояли ещё немного. В проезде было тихо, только где-то далеко кашлянул человек и замолчал, будто услышал себя со стороны.

Она достала из кармана конверт и положила на бетон между нами.

— А это зачем? — спросил я.

— Чтобы ты помнил, что цена уже менялась.

Она подождала. Я не взял конверт.

Конверт лежал на бетоне между нами, серый на сером. В свете фонаря было видно, что один угол помялся.

— Теперь твоя цена, — сказала она. — Блокнот. Каждую ночь — мне.

— Там всё.

— Вот и хорошо. Значит, мне будет что читать.

— А утром?

— Утром отдам. Если будет что отдавать.

— Тогда и ты, — сказал я. — Каждый раз, когда ходишь к Баркле, говоришь, что видела. Не что принесла. Что видела.

— Это не твоя часть.

— Теперь моя.

Сова помолчала.

Её ладонь легла на бетон.

— Ладно. Но не всё.

Я держал блокнот двумя руками. Большой палец оставил вмятинку на верхней странице. Обложка была тёплая от ладони. Я не сразу разжал пальцы.

— Хорошо.

— Не соглашайся так быстро.

— Я не быстро. Я уже три дня считаю.

Сова не сразу кивнула. Потом кивнула.

— Теперь скажи их, — сказала она. — Не по бумаге.

— Первый — подходит ближе к двери. Второй — появляется второй человек. Третий — меняется шаг или маршрут.

— Хорошо. Если ошибёшься в одном — считаем, что сигнал был.

— Это нечестно.

— Это страховка.

— Был слух про второго, — сказал я. — У водокачки. Я не записал его как сигнал.

— Почему?

— Потому что это слух.

— Правильно, — сказала Сова. — Пока.

Она сказала это не мне. Двору.

— А если он не сделает ни одного?

— Тогда на третий день решаю я.

— По расчёту?

— По факту. Факт будет: он не сделал.

Я записал это в блокнот. Сова не мешала. Она ждала, пока я закончу, и только потом сказала про окна и записи.

— Окна держишь ты. Записи держишь ты. Решение держу я.

— Согласен.

Сова кивнула, будто поставила галочку.

Кира стояла в дверях с кружкой, и пар от неё уже не шёл. Она ничего не сказала. Сова посмотрела на неё, и Кира ушла внутрь.

Мы вернулись в котельную. Кира уже лежала у стены, отвернувшись. Дрон спал на полу, и кулак с картой памяти ходил вверх-вниз вместе с дыханием. Сова села у печки и закрыла глаза.

В сенях капнуло в ведро. Я открыл блокнот, нашёл чистую страницу и написал сверху: «День первый». Ниже оставалось ещё полстраницы. Я закрыл блокнот и положил его на бетон перед Совой. Сова накрыла его ладонью.

ГЛАВА 5. НИТКА

Сова вернула блокнот в пять сорок, и я проснулся от того, что он лёг на ящик рядом с моей рукой.

Печка остыла. В щели над дверью стоял серый свет, и угольная пыль на полу была похожа на рассыпанную соль.

В котельной пахло холодным металлом и вчерашним чаем. На верстаке лежала плата Дрона, накрытая тряпкой. Кто-то положил её так, чтобы не видно было проводов.

На полу у стены стояли три ведра. Два с водой, одно пустое. Пустое было для крыши. Дрон называл его «главным».

На странице с тремя сигналами её рукой был вычеркнут второй человек. Рядом стояло одно слово: «Пока».

— Это моя страница, — сказал я.

— Теперь наша, — сказала Сова.

Она сидела на ящике напротив, в куртке, с поднятым воротом. Спала она или нет, по лицу было не понять.

Волосы у неё были влажные, и с одной пряди капнуло на воротник. На рукаве темнела полоса — то ли вода, то ли что-то ещё.

Она просидела на крыше всю ночь. Я знал это не потому, что видел, а потому что она не расшнуровала ботинки. Так делают, когда собираются уходить снова.

— Ты вычеркнула сигнал.

— Я вычеркнула ожидание.

— Это одно и то же.

— Нет. Сигнал приходит. Ожидание ты носишь с собой.

Я посмотрел на вычеркнутую строку. Черта была ровная, проведённая дважды, чтобы не осталось сомнений.

Под чертой оставалось место. Сова не приписала ничего, кроме «Пока», и дальше не пошла. Я провёл пальцем по бумаге под чертой. Там было гладко.

— Второго может не быть, — сказала Сова. — Ты уже начал его ждать.

— А если будет?

— Тогда впишешь.

Кира у тёплой стены открыла глаза. Она не спала или делала вид, что не спала, но кружку держала уже в руке.

На плечах лежало одеяло, сложенное вдвое. Она смотрела не на меня, а на блокнот, и, кажется, видела, как Сова его возвращала.

— Ты не спал, — сказала она.

— Считал.

— Что?

— Пока не знаю.

Сова встала и поправила куртку. Дверь она открыла на ладонь, выпустила холод и закрыла.

— Дверь, калитка, крыша — мои, — сказала она. — Окна и расписание — твои. Ничего не меняешь.

— Первый день, — сказал я.

— Первый, — сказала она и вышла.

Я остался с блокнотом на коленях. Потёр большим пальцем угол страницы, где черта упиралась в край. Бумага там была продавлена, но не порвана.

Блокнот был тонкий. В нём оставалось меньше страниц, чем я думал. Я пересчитал их и не запомнил число.

Я закрыл блокнот, не тронув черту.

Дрон спал на полу, подложив под голову разгрузочный жилет. Кулак с картой памяти ходил вверх-вниз вместе с дыханием.

Во сне он что-то сказал, коротко и неразборчиво, и сам же на это ответил. Кира не обернулась. Она привыкла.

В пять сорок пять за дверью скрипнула калитка. Потом ещё раз, дальше.

Сова шла по двору, не скрываясь. Она всегда так ходила, когда хотела, чтобы её слышали. Пусть думают, что она просто проверяет засов.

Я вывел в блокноте «Первый день. Блокнот вернулся с пометкой».

Больше в блокноте ничего не появилось.

— Ты его отдал, — сказала Кира.

— Отдал.

— И она написала.

— Написала.

Кира кивнула и закрыла глаза. Разговор был закончен раньше, чем начался.

В семь сорок у Любы стояла очередь.

Бочка гудела. Пар над ней стоял столбом и не расходился, хотя ветра не было. Асфальт был мокрый, хотя дождя не было. Лужа у бордюра стояла с ночи и не сохла. Третья арка стояла пустая, и я смотрел в неё дольше, чем в очередь.

Очередь была короткая — шесть человек и девочка с ведром. Ведро она держала двумя руками и ставила ровно, чтобы не расплескать. Люди говорили тише, чем вчера. Кто-то за спиной кашлял в кулак, коротко и часто. Кто-то оглядывался на арку. Не я один считал пустоту.

Женщина в брезентовой куртке пришла без сумки. Мужчина, который обычно мыл руки в чужой воде, сегодня держал руки в карманах. Мелочь, но я запомнил.

Наблюдатель пришёл без пятнадцати восемь.

Он вернулся так, будто никуда не уходил. Каблук отсчитал двенадцать шагов от арки, остановился на пустом месте, и очередь подалась вокруг него, как вода вокруг камня.

Никто не обернулся. Никто не замолчал. Но разговор стал другим. Слова остались те же, а голоса стали тише.

Худой. Светлые прямые волосы. Куртка цвета района. Руки пустые. Часы на левой.

Он стоял ровно, не переминаясь. Правой рукой поправил рукав на левом запястье, и часы ушли под ткань. Больше он руку не поднимал.

Очередь смотрела на него и не смотрела. Девочка с ведром переставила ведро между собой и аркой. Кто-то сдвинулся на полшага и освободил дорогу, которой никто не просил.

Уровень прочёлся сам: пятьдесят один. Следопыт.

— Доброе утро, — сказала Люба.

Он не ответил. Лицо сделало то, что у людей обычно делает рот. Извинилось. Он положил на доску ровно столько, сколько стоит кипяток, и пошёл к арке.

Перед тем как уйти, он провёл ладонью по кирпичу. По тому месту, где вчера был мел. Не обернулся.

Я не пошёл за ним. Я смотрел на кирпич у арки.

Вчера там была свежая меловая черта. Сегодня остался только серый след, будто по кирпичу провели мокрой ладонью.

Кто-то стёр её, пока мы спали.

Серый след я не тронул. Провести по нему ладонью — значит стереть и то, что от него осталось.

Кирпич был холодный. В трещине под ним лежала дохлая муха, и я подумал, что за ночь никто не приходил её убрать.

Люба наливала, не поворачивая головы. Половник она держала над бочкой, давала стечь и обтирала о тряпку.

— Вчера одна приходила, — сказала она. — Спрашивала про человека с блокнотом.

— Кто?

— Не назвалась. Сказала, что ты её знаешь.

Люба подняла руку и повернула кисть — накрутила на палец невидимую нитку. Потом сунула руку в карман.

— Руки у неё были заняты. Всё время что-то крутила.

Я взял кружку за донышко — ладонь всё равно обожгло, и по пальцам потекло.

— Долг растёт, — сказала Люба.

— Знаю.

— Хорошо, что знаешь. Плохо, что не спрашиваешь, сколько.

Она налила следующему и провела рукой по доске, хотя доска была сухая. Очередь сдвинулась, и пустота на месте наблюдателя закрылась.

Я допил чай и пошёл к гаражам.

Нитка ждала меня у трансформаторной будки.

Гаражи стояли в ряд, и между ними гулял ветер, которого не было во дворе. Пахло машинным маслом и мокрой штукатуркой. На крыше одного гаража сидели голуби и не улетали.

На земле между гаражами лежала длинная полоса тени, и в ней было на несколько градусов холоднее. Я вошёл в тень и почувствовал, как куртка стала тяжелее.

Она сидела на ящике из-под банок, положив ногу на ногу, и наматывала на палец чёрную нитку. Нитка была длинная, и конца не было видно.

— Ты стал дорого стоить, — сказала она вместо «здравствуй».

— Это ты мне продаёшь?

— Это я тебе говорю.

Она отпустила нитку, и та повисла между нами, тонкая, как трещина на стекле.

Ветер шевельнул её, и нитка качнулась, но не порвалась. Нитка была не для шитья. Я это понял и не спросил.

— Не за деньги, — сказала Нитка. — Деньги у тебя ещё есть. Времени нет.

— Откуда ты знаешь про три дня?

— В Серяках стены тонкие. — Она поддела нитку мизинцем и натянула. — Это единственный ответ, который у меня есть.

Она не смотрела на меня, пока не закончила. Работала без спешки и без лишнего движения, как другие работают с ножом. Где она берёт конец, я так и не увидел.

Я сел на ящик напротив. Между нами была лужа с радужной плёнкой, и в ней отражалось небо, которого не было.

— Я пришла не из-за долга, — сказала она. — Долг тот же. Это не он.

— Тогда зачем?

— Потому что ты начал считать не то.

Она подняла нитку и снова намотала на палец. На пальце была мозоль, ровная, как у человека, который каждый день держит одно и то же. Нитка оставила на коже красную полосу, и полоса не сходила.

— Посчитай ошибки, которых не было, — сказала Нитка. — Не те, что записал. Те, что Система не показала.

— Я записываю всё.

— Вот это и плохо.

Я молчал. Губы у неё дрогнули, но не в улыбку.

— Я видела дверь, — сказала она. — В ней было окошко. За окошком горел свет, и на поручне лежали чьи-то руки. Руки держались.

— Где?

— Не здесь.

Она сказала это ровно, как называют улицу. Спрашивать было нечего.

Нитка посмотрела на гаражные крыши. На одной сидели голуби, и один из них смотрел вниз, на нас, как смотрят на людей, которые всё равно ничего не решат.

— Он тоже считает, — сказала она.

— Кто?

— Тот, с часами.

— Он тебя видел?

— Меня видят все. Вопрос в том, что записывают.

Она перекусила нитку зубами и спрятала откушенный конец в рукав. Другой конец всё ещё свисал с пальца.

— Второй — не его, — сказала Нитка.

— Какой второй?

— Тот, о котором вы говорите в очереди. Если увидишь второго, не считай его сигналом. Считай его ответом.

— Чьим ответом?

— Если бы я знала, я бы не пришла.

Три сигнала, три дня, решение Совы — я складывал их в один счёт, и счёт не сходился.

Записать её слова я не стал. Если записать, они станут моими. Пока они были её.

Я достал блокнот и раскрыл на странице с сигналами. Там всё ещё была черта Совы и слово «Пока».

— Кто-то стёр мел в арке, — сказал я.

— Значит, кто-то читает то же, что и ты.

— Ты?

— Я не пишу на стенах.

Она встала. Нитка больше не висела между нами. Она исчезла, будто её и не было.

— Принеси мне страницу, которую она вычеркнула, — сказала Нитка.

Я взялся за блокнот. Потом убрал руку.

— Нет.

— Тогда долг тот же.

Она не удивилась.

— Ты знаешь, что там?

— Я знаю, что там было. Это разные вещи.

Она пошла между гаражами, задев плечом край ящика. Шагов я не услышал: только что была — и уже нет.

На ящике осталась лежать чёрная нитка, свернутая в кольцо.

Я накрыл её ладонью, подержал и убрал руку. Если возьму, буду носить с собой.

В половине второго Дрон сидел наверху с платой.

Пахло канифолью и горячим металлом — сильнее, чем утром. В луче из щели в крыше висела пыль и медленно поворачивалась.

Дрон работал молча. Обычно он говорил и работал одновременно, а сейчас только дышал через нос и шевелил губами.

Паяльник шипел. Наверху что-то постукивало по балке, и я не сразу понял, что это его нога.

Кира чистила инструмент у верстака. Она не смотрела на меня, но я знал, что она слышала, как я вошёл.

— Я видел машину, — сказал Дрон.

Отвёртка в его руке остановилась. Паяльник лежал на подставке и шипел, и капля олова сорвалась с жала на стол. Дрон посмотрел на неё, потом на меня.

— У насыпи. Вчера. Поздно.

Он положил плату на колени, а руки оставил на весу. Потом сказал всё сразу, не давая себе остановиться.

— Тёмная, не наша. Двигатель работал тихо, я услышал не сразу. Огней не было, дверца хлопнула один раз. Их было двое. Один остался у машины, второй пошёл к водокачке. Шёл не спеша, ставил ногу с пятки, каблук не стучал. Лиц не видел. Второй был в куртке без капюшона.

Кира перестала чистить. Инструмент остался лежать на её колене.

— Почему не сказал?

— Не хотел быть тем, кто приносит плохое.

— А сейчас?

— Потому что вы все смотрите на дверь, а я смотрю на небо.

— И что там? — спросила Кира.

— Пока ничего.

Он вытер руки о штаны. Жест был лишний. Руки у него были чистые. Кира, не глядя, подвинула по верстаку тряпку — поближе к лестнице.

— Ты сказал «второй», — сказала Кира. — Значит, первого ты видел.

— Видел.

— А рассказываешь про второго.

— Почему ты вообще был у насыпи? — спросил я.

— Проверял Серёгу. Он вчера вернулся с западной. Он всегда возвращается с северной.

Дрон сказал это громко и сразу замолчал. Кира отложила инструмент на верстак. Потом он добавил тише:

— Я должен был сказать раньше.

— Должен был, — сказал я.

— Ну вот. Теперь сказал.

Он взял отвёртку и снова склонился над платой. Работать он не начал. Просто держал отвёртку, как держат ложку над пустой тарелкой.

Я записал: «Машина у насыпи. Двое. Один — к водокачке. Серёга вернулся с запада».

Кира посмотрела на страницу и ничего не сказала.

— Ты его знаешь? — спросила она.

— Кого?

— Того, кто был в куртке без капюшона.

— Нет.

— Жаль.

Она вернулась к инструменту. Металл в её руках больше не звучал.

Сова вернулась в десять минут четвёртого.

Она вошла, не стряхнув воду с куртки. На рукаве была та же тёмная полоса, что утром. Значит, она была не на крыше, а дальше.

Я рассказал ей про Нитку сам, до вопроса. Она слушала, не перебивая, и только один раз прикрыла глаза, когда я сказал про руки на поручне.

— Ты был у неё, — сказала она.

— Был.

— И она пришла сама.

— Сама.

— Что она просила?

Блокнот лежал открытым, на странице с тремя сигналами.

Сова ждала. Она умела ждать так, что ожидание становилось отдельным человеком в комнате.

— Ничего.

Сова не повысила голос. Она просто перестала двигаться.

— Ты врёшь.

— Она просила страницу. Ту, что ты вычеркнула.

— Зачем?

— Не сказала.

— И ты не дал.

— Не дал.

Сова протянула руку.

— Дай мне.

Блокнот остался лежать у меня на колене.

— Скажи, зачем.

— Затем, что это моя страница. Я на ней писала.

— Ты на ней вычеркнула.

— Вычеркнула.

— Тогда скажешь, что найдёшь.

Сова помолчала. Потом провела пальцами по краю стола — коротко, как стирают крошку.

— Хорошо. Скажу.

Я вырвал страницу. Бумага сопротивлялась, и край получился рваным.

Потом сложил её пополам и разорвал по сгибу. Верхнюю половину, с чертой и «Пока», протянул ей. Нижнюю, чистую, сунул обратно в блокнот.

— Чистого не дам, — сказал я.

— Мне хватит, — сказала Сова.

На месте страницы остались зубцы. Блокнот стал тоньше, и это было заметно даже на ощупь.

Я провёл пальцем по зубцам. Бумага была плотная, и один клочок остался в переплёте. Я не стал его выдёргивать.

Она сложила её вчетверо, потом ещё раз, и убрала во внутренний карман.

— Теперь я знаю, что ты не сказал, — сказала она.

— Я сказал.

— Не всё.

Она приложила ладонь к карману, проверяя, на месте ли бумага. Спросить, что ещё, она не стала. Стояла и ждала, пока я подберу следующее слово. Я его не подобрал.

Слова у меня были. Я их не сказал.

Кира встала в проёме, держа кружку обеими руками. Посмотрела на карман Совы, потом на меня. Ушла внутрь, не сказав ничего.

— Ты не понесёшь ей страницу, — сказала Сова.

— Не понесу.

— Скажи это.

— Не понесу. — Я подождал. — Теперь ты.

Сова подняла глаза.

— Скажу, что найду. Если будет что сказать, — сказала она тихо и ровно.

Она кивнула и села к печке. Бумага шуршала в её кармане, когда она поворачивалась.

В семь вечера я считал ошибки стоя.

Лампу я поставил на стол, но она гудела так, что я слышал не строчки, а гул. Пришлось повернуть её к стене.

Стол был из дверцы шкафа, положенной на два ящика. На нём оставались следы от гвоздей, и я вёл пальцем по этим следам, пока думал.

От печки тянуло только у самой дверцы; в двух шагах по ногам шло холодом.

Тень от блокнота на стене была больше блокнота.

В блокноте за неделю было пять строк: «Дверь», «Сквозняк», «Лишний кадр», «Тихий вход», «Скрепка». Каждая — с датой и временем. Каждая закрывалась сама, без моей команды.

Перечитал дважды.

В четверг ошибка была. Я помнил, как панель мигнула у меня перед лицом, и как я поставил время в блокнот. В блокноте четверг был пуст.

Я помнил даже цвет рамки: красный, с тонкой белой полосой сверху. Такой я не видел ни до, ни после.

И я помнил, что строка была короткая. Она не могла исчезнуть. Но она исчезла.

Я перевернул страницу. Потом вернулся назад.

Пусто.

Кира сидела напротив и чинила рукав — не свой, широкий в плече.

Её игла входила в ткань и выходила обратно, и каждый раз она затягивала нитку ровно настолько, чтобы шов не морщил. Я смотрел на её руки дольше, чем на страницу.

— Ты сегодня считал строчки, не окна, — сказала она.

— Окна я тоже считал.

— Нет. Ты смотрел на бумагу.

— Это одно и то же.

— Нет.

Она откусила нитку. Звук был короткий, как щелчок.

— Она не врёт, — сказала Кира. — Но и не всё говорит.

— Ты про Нитку?

— Про всех. — Она поднесла иголку к свету и не попала в ушко с первого раза. — И про меня.

Про Сову это тоже было правдой.

Я записал: «Ошибка, которой не было. Четверг». И подчеркнул четверг.

Кира прочла строку и не спросила, что она значит.

— Ты видел строчку, которой не было? — спросила она.

— Пока нет. Но одна уже есть.

Она кивнула и вернулась к рукаву.

В котельной стало тихо. Дрон наверху перестал двигаться. Сова у котла не поворачивалась.

В двадцать один сорок пять наблюдатель не пришёл.

Я стоял на пороге, дверь открыта на ладонь, свет печки лежал на асфальте жёлтой полосой. Двор был пустой. Калитка закрыта. В третьей арке никого.

Я ждал не шагов, а звука. Шаги я знал. Мне нужно было услышать, как кто-то решает не идти.

В проезде капало с крыши. Каждая капля падала в лужу, и по звуку было слышно, что лужа глубже, чем вчера.

В двадцать два пятьдесят панель мигнула.

Сначала я почувствовал гул. Он был низкий, ниже обычного, и от него заныли зубы. Потом я увидел рамку.

Она висела в воздухе перед дверью, матово-полупрозрачная, как старое стекло с окислением.

Края у неё дрожали. Так бывает, когда панель держится на последнем усилии. Ошибка была обычная, красная, с короткой строкой. Я успел прочитать начало и потянулся за блокнотом.

Строка стала длиннее.

Она выросла на два слова, потом ещё на одно. Буквы поехали в сторону, как строчки на мокрой бумаге. Я поднял руку, будто мог её придержать.

Не успел. Первое слово не походило ни на одно слово Системы: ни на «ОШИБКА», ни на «ВНИМАНИЕ», ни на «ДОСТУП».

Я записал: «22.50. Ошибка. Строка длиннее. Первое слово не по-системному. Не прочитал».

Сова слезла с крыши и встала рядом, и от неё потянуло пылью и холодом.

Она посмотрела на панель, потом на меня. С рукава капало, и на асфальте остались тёмные точки. Спрашивать она не стала — ждала, что я скажу первым.

Я хотел сказать про четверг. Сказал: «Она длиннее». Сова кивнула один раз.

— Первый день, — сказала она.

— Помню.

— Наблюдатель не пришёл.

— Не пришёл.

— Значит, он тоже считает.

Я закрыл блокнот и отдал ей. Она взяла его двумя руками, как берут чужую вещь, которую обещали вернуть.

— Утром отдам, — сказала она.

— Знаю.

— Ты не записал строку.

— Не успел.

— Тогда запомни.

Я посмотрел на панель. Строка всё ещё висела, но буквы плыли, и первое слово распадалось на части.

В сенях капнуло в ведро. Я успел запомнить только первое слово и не знал, куда его ставить.

ГЛАВА 6. ПЕРВЫЙ ПРИЗНАК ВТОРОГО СЛОЯ

Сова вернула блокнот в шесть десять и сказала, что срок сдвигается.

Я проснулся от того, что он лёг на ящик рядом с рукой. Обложка была холодная, словно её держали на улице.

В котельной стоял утренний холод, который не берётся ни печкой, ни курткой. Он лежал на вещах, как пыль.

Печка только разожглась, дым ещё не ушёл в трубу. Дверца была прикрыта, и в щель бил красный свет. Дым держался под потолком серым слоем, и от него першило в горле.

Дрон спал на полу, подложив под голову разгрузочный жилет. Кира лежала у тёплой стены, укрытая до подбородка. Внутри было холодно, и все вещи казались влажными.

На верстаке лежала плата Дрона, накрытая тряпкой. Тряпку кто-то поправил так, чтобы не видно было проводов.

На первой странице её рукой было написано: «Пиши, что видел. Не то, что думаешь».

Буквы ровные, без наклона. Сова писала так, как резала: коротко и до конца.

На бумаге остался вдавленный след от карандаша. Если провести пальцем, чувствовалась каждая буква.

— Это моя страница, — сказал я.

— Теперь инструкция, — сказала Сова.

Она сидела на ящике у стены, в куртке, с мокрыми волосами. С крыши она принесла ветер.

Ботинки она не расшнуровала. На подошве была грязь, которой во дворе не было.

— Ты сдвинула срок.

— Я сдвинула счёт.

— Это одно и то же.

— Срок — три дня. Счёт — то, что мы уже видели.

Я глянул на лист. Под инструкцией оставалась пустая половина.

— До завтрашнего вечера, — сказала она. — Потом решаю я.

— А если завтра ничего не будет?

— Тогда решу по тому, что есть.

— Что ты делала на крыше?

— Считала.

— Что?

— Своё.

Грязь на подошве была тёмная, с песком. Песок во дворе лежал только у насыпи.

Я взял карандаш и записал: «22.50. Строка длиннее. Первое слово не по-системному».

Больше я ничего не написал. Сова смотрела, пока я не закрыл блокнот.

— Мало, — сказала она.

— Знаю.

— Завтра будет больше.

Кира у тёплой стены открыла глаза. Кружка уже стояла на её колене.

На её рукаве была чёрная нитка, прилипшая к шерсти. Та же, что осталась на ящике у гаражей.

— Ты не спал, — сказала она.

— Считал.

— Что?

— Слово.

— Какое?

— Не знаю.

Сова подняла глаза. Вопрос она не задала. Она ждала, что я скажу сам.

Говорить было нечего, и она встала.

Дверь она приоткрыла, выпустила холод и закрыла. По крыше прошли её шаги, потом стихли.

Кира села и протянула руку.

— Дай.

Я не дал.

— Тогда не спрашивай.

Она сказала это спокойно, как говорят о порядке работы.

— Ты записал не слово.

— Я записал то, что помню.

— Ты помнишь начало.

— Скажи конец.

— Не знаю.

Она взяла кружку и держала её у подбородка, не поднимая к лицу.

В десять двадцать у Любы стояла очередь.

Пар от бочки поднимался и расходился над головами. Асфальт был мокрый, хотя дождя не было. Третья арка стояла пустая, и я смотрел в неё дольше, чем в очередь.

Очередь была длиннее вчерашней. Люди стояли плотнее, словно пустота в арке сдвинула их друг к другу.

Пар садился на лица. У тех, кто стоял близко к бочке, волосы у висков намокли и прилипли.

На бочке лежала крышка, поперёк неё шла трещина. В крышке отражалось небо, серое, без единого просвета, и трещина делила его надвое. Я тронул крышку пальцем. Металл был холодный, трещина цепляла кожу.

Наблюдателя не было второй день.

Я проверил кирпич у арки. Серый след от мела стал ещё бледнее, рядом появилась новая царапина, короткая и свежая. Я её не трогал.

Люба наливала кипяток, глядя в бочку. Ковш она держала через рукав, рукав был мокрый до локтя. На гвозде у края прилавка висела чёрная нитка, короткая, сложенная вдвое, и дрожала от пара.

Руки у Любы были красные, как после стирки, и пар над ними не задерживался.

— Приходила твоя, — сказала Люба. — Ничего не взяла. Вот, оставила.

— Что сказала?

— Чтобы ты не искал её. Сама найдёт.

— Возьмёшь?

— Нет.

— Правильно.

— Крышка ночью щёлкнула, — сказала Люба. — Один раз. Я думала, кто-то стучит.

— Ветер.

— Ветер, — согласилась она и взялась за ковш.

Она поставила ковш на бочку и вытерла руки о фартук.

— Крышка течёт по трещине. Скажи своему мастеру, пусть запаяет.

— Скажу.

— Скажи так, чтобы пришёл. Он в прошлый раз сказал «завтра» и не пришёл.

Я смотрел на нитку. Чёрная, без узла. Такие не рвутся сами.

Я представил, как Нитка стоит у прилавка, завязывает её и уходит. Люба при этом смотрит в бочку. Это было легко представить.

— Мне предлагают место под крышей, — сказала Люба. — Кипяток будет из бака. Считать будет другой.

— Пойдёшь?

— Колени, — сказала она. — Здесь я стою, там буду сидеть.

— Не уходи раньше, чем я разберусь.

— С чем?

— С тем, кто оставляет мне нитки.

Люба глянула на меня, потом на гвоздь.

— Вот как, — сказала она. — А я думала, тебе нужно, чтобы я наливала.

Она взяла ковш и налила следующему, не спрашивая, сколько.

— Долг растёт, — сказала она.

— Сколько?

— Не твоя забота. Пей.

Девочка с ведром увидела нитку и протянула руку. Мать отвела её руку в сторону. Девочка не заплакала, просто убрала руку, как убирают вещь, которую не разрешили.

Очередь сделала вид, что ничего не заметила.

— Немого не было? — спросил я.

— Второй день.

— А вчера?

— Вчера был. Утром.

Она сказала это ровно, как говорят о человеке, который приходит за кипятком.

— Подыми, — сказала она и кивнула на ведро у своих ног.

Я поднял его на край бочки. Вода плеснула через край и потекла по рукаву. Пока я держал ведро, очередь сдвинулась и закрыла мне арку.

— Ставь, — сказала Люба. — Иди.

Я допил чай и пошёл к арке. Нитка осталась на гвозде. Если бы я её взял, пришлось бы искать, кто её оставил, а я и так знал.

В четырнадцать двадцать у лавки никого не было, кроме голубей на крыше.

Окна смотрели вниз. Я прошёл под аркой, и шаги отдались гулко и дважды.

Окно Тамары Ильиничны было открыто на ширину руки. Она стояла за занавеской и смотрела вниз. Когда я поднял голову, она покачала головой: нет.

Я сел на лавку. Она была мокрая, и холод прошёл через куртку сразу.

На лавке лежал мокрый лист. Я сдвинул его носком. Под листом была выцарапана короткая черта.

От стены пахло мокрым цементом.

Если ошибка есть, строка должна быть. Я открыл панель и сделал то, чего обычно не делал: вошёл в список не с начала, а с середины. Порядок был неправильный, и панель должна была ругнуться.

Я ждал гула. Гул был, короткий, как выдох.

Панель не ругнулась. Она приняла порядок, которого не было, и закрылась.

Рамка не появилась. Курсор мигнул и погас.

Тогда я сделал ещё одну ошибку: выбрал не тот пункт и подтвердил. Панель мигнула и держала свечение дольше, чем в первый раз. Потом по краю прошла красная линия, ровная, будто её провели по линейке. Внутри не было ни слова, ни цифры.

Я смотрел на неё, пока она не погасла.

Я просидел на лавке ещё двадцать минут. Наблюдатель не пришёл. Голуби на крыше сидели спиной ко мне, и это было единственное движение во дворе.

Тамара Ильинична появилась в окне дважды. В первый раз она показала ладонь: нет.

Во второй раз она толкнула створку и открыла её до конца, хотя до этого держала приоткрытой. Раму повело, и Тамара придержала её обеими руками. Смотрела она мимо меня, в третью арку, и держала, пока створка не перестала ходить. Потом приложила палец к губам, уже мне.

Окно она закрыла медленно, чтобы рама не хлопнула. Занавеска качнулась и замерла.

Я посидел ещё немного, потом встал. Лавка осталась мокрой, и на ней был виден след от куртки, тёмное пятно в форме спины.

С этой лавки видно обе арки. И из окон было видно, что на лавке сидели.

Я ушёл, не оборачиваясь.

Ветер гнал по асфальту пыль, и она ложилась у стены тонкой полосой. Он был холодный и пах мокрым кирпичом.

Я вернулся на базу.

В девятнадцать сорок я сел за стол и открыл панель.

На столе лежали лампа, блокнот и три карандаша. Один был сломан, и я отложил его в сторону. Второй положил на колено, грифелем к пальцам, чтобы взять сразу. Третий оставил на столе.

Бумага под карандашом была шершавой, и грифель цеплялся за неё, как за сухую корку.

Сверху Дрон передвинул плату. Кира у верстака перестала чистить инструмент, и стало слышно, как потрескивает уголь.

— Артём. Лампу.

Он свесился с балки.

— У меня плата. Ошибка, только без букв. Дорожка звонится через раз, а где, не вижу.

Я поднял лампу и подал ему. Он поставил её на балку, ближе к себе, и повернул так, что свет лёг мне за спину.

— И подержи. Ровно. Не дыши.

Я держал плату на весу, пока он водил по ней чем-то тонким. Руки замёрзли раньше, чем он закончил.

— Вот. — Он ткнул пальцем. — Под лаком. Я её вижу, а оно не видит.

— Плохой контакт.

— Плохой контакт — это когда не знаешь, где. А я знаю, где.

Он забрал плату и отпустил меня.

— Всё. Иди пиши свои буквы.

Лампу он оставил у себя на балке.

Я сел. Свет падал мне на плечо и дальше, на пол. Страница осталась в тени, и тень от руки дрожала на ней. Я убрал руку.

В сенях капнуло. Один раз, потом ещё раз, через долгий промежуток.

Дверь была закрыта, и щеколда лежала в пазу.

Я выбрал пункт, который обычно не выбирал, и стал ждать гула. Гула не было.

Рамка пришла в тишине. Красная, с короткой строкой. Я дёрнулся за карандашом; карандаш покатился с колена, и я поймал его у самого пола.

Первое слово я успел прочитать.

Оно было короткое, не походило на системное и начиналось с буквы, которой в русском алфавите нет.

Строка стала длиннее.

Буквы пошли не слева направо, а сверху вниз, не русские и не цифры, ровные, будто их выложили из палок. Я записывал так, как видел: палка, палка, угол, палка, только четвёртая короче и наклонена в другую сторону.

Карандаш цеплялся за бумагу. Одна буква получилась кривой, и я обвёл её, чтобы потом не спутать. Рука была холодная, линии выходили тонкие.

Исчезла.

Панель погасла не сразу. Она мигнула ещё два раза и пропала.

— Смотри, — сказал я.

— Ты долго, — сказала Кира.

— Считал.

— Что?

— Пока не знаю.

— Ты всегда так говоришь, когда знаешь.

— Тогда не спрашивай.

Она подошла и встала так, чтобы видеть и лист, и панель. Шла, ставя ступню целиком, без стука. В руке была кружка, и она держала её на отлёте.

— Я не вижу, — сказала она.

— Сейчас. Было.

— Я вижу буквы. На бумаге.

Она взяла блокнот и подняла его к балке, где стояла лампа. Её палец прошёл по строчке, не касаясь бумаги. Дошла до конца, вернулась к началу. Ноготь на указательном был обломан наискось.

— Ты пишешь не те буквы.

— Почему?

— Потому что я видела такие же.

— Где?

— Не здесь.

— Это не ответ.

— На шильдике. У старого прибора, который мне дали разбирать. — Она помолчала. — Я его так и не разобрала.

— Кира.

— Не сейчас.

— Какие?

— Не знаю. Но не те.

— Ты можешь прочитать?

— Нет.

Она вернула блокнот и вытерла палец о рукав, будто после мела.

— Дай мне его до утра, — сказала она. — Я не буду писать. Только посмотрю при свете.

— Нет.

Она взглянула на меня и спорить не стала. Это было хуже спора.

Наверху Дрон уронил что-то маленькое. Оно прокатилось по балке и остановилось.

— Нашёл, — сказал он сверху, громче, чем нужно, чтобы услышали внизу. — Под лаком.

Кира посмотрела наверх и ничего не ответила. Дрон не переспросил.

Кира вернулась к верстаку. Я остался с блокнотом и буквами, которые не умел читать.

В котельной стало темнее. Стекло отражало лампу и моё лицо за ней.

В двадцать один тридцать Сова спустилась с крыши.

Она вошла быстро, не останавливаясь на пороге. Руки были пустые. От неё тянуло холодом, и пламя в печке легло набок. На рукаве темнела мокрая полоса.

Лампу она сняла с балки и поставила на стол, не спросив Дрона.

Я показал ей страницу. Она читала долго, хотя там было четыре знака.

Блокнот она держала за угол, на весу, и подносила к лампе, пока тень от руки не ушла со страницы. Большой палец вдавил бумагу. Потом она перевернула страницу и поднесла к лампе обратную сторону.

— Это не ошибка, — сказала она.

— Почему?

— Она не повторяется по заказу. Я видела ошибки. Они приходят, когда ломается. Эта пришла, когда ты её позвал.

— Я не звал.

— Ты открыл список не с начала. Ты сделал ошибку. Она пришла на ошибку.

— Тогда что это?

Сова положила блокнот на стол и разгладила страницу.

— Сообщение.

Сова подождала. Панель не мигнула.

— Покажи ещё раз.

Я открыл список, сделал ту же ошибку. Панель мигнула и осталась пустой.

— Ещё.

Я сделал ещё. Сова считала губами.

— Ещё.

На третий раз свечение держалось дольше и ушло без рамки.

— Хватит.

Она отступила на шаг. На половице отпечаталась подошва, тёмный рубчатый край.

— Я не вижу строку, — сказала она. — Я вижу ошибку. Только ошибку.

Я взял со стола карандаш и протянул ей.

— Тогда пиши ты.

Она взяла. Подержала над страницей, грифелем вниз. Писать было нечего.

Она положила карандаш на край стола и не отдала его мне.

Я не взял.

— Кира, — позвала она.

Кира подошла. Сова протянула ей блокнот.

Кира взяла его так осторожно, будто страница была мокрой.

— Смотри.

Кира смотрела на лист. Палец остановился на третьей букве.

— Не те, — сказала она. — Но я их вижу.

Сова замолчала. В трубе гудел ветер.

Я стоял между ними. Кира держала блокнот, Сова — край стола, и обе смотрели на страницу, а не друг на друга.

Нога Дрона перестала стучать по балке.

— Значит, буквы не для всех, — сказала Сова.

— Я не знаю, откуда они, — сказала Кира. — Но они не для меня.

— А для кого?

Кира покачала головой.

— Скажи при ней, что ты не видела, — сказал я.

Сова перевела глаза на меня, потом на Киру.

— Я не видела.

— Знаю, — сказал я. — Ей скажи.

— Я не видела, — повторила Сова, уже Кире.

Кира кивнула один раз.

Сова забрала блокнот и подвинула его на середину стола.

— Завтра она скажет, откуда знает. При мне. И ты один не полезешь.

— А если завтра она не увидит?

— Тогда увидит тот, кто послал.

Кира не спросила, кто послал. Она смотрела на страницу.

— Я не знаю, что это, — сказала она. — Но они не отсюда.

— Откуда? — спросил я.

Она не ответила. Сова глянула на неё, и Кира опустила глаза.

— Блокнот до утра у меня, — сказал я.

— Он и так у тебя.

— На столе. Каждую ночь. Это твоё правило.

Сова тронула блокнот пальцем и убрала руку.

— До утра, — сказала она.

Я взял блокнот со стола.

Кира подошла к столу и взяла карандаш с края. Она положила его мне в руку, грифелем наружу.

— Не пиши в темноте, — сказала она.

Сова видела. Она ничего не сказала.

В двадцать один сорок пять я вышел на порог.

Дверь открыл ровно настолько, чтобы выйти. Свет печки лёг на асфальт узкой полосой, и в ней проступил мокрый след от подошвы.

Ночь стояла тёплая. Холод шёл снизу, от бетона, и держался в ногах. Фонарь над аркой горел, и в луже у стены стояло его отражение, маленькое, дрожащее.

Я постоял, пока глаза привыкли. В третьей арке не было никого.

Наблюдатель не пришёл. Я не ждал до полуночи. Я открыл панель и сделал ошибку.

Я ждал не шагов. Я ждал строку.

В проезде было тихо. Капля падала с крыши, и по звуку было слышно, что лужа стала глубже.

Где-то далеко проехала машина, и свет фар прошёл по крыше котельной. Потом стало темнее.

В двадцать три сорок панель мигнула. Строка появилась сразу.

Она была не такая, как днём. Днём буквы шли в одну сторону, теперь в две.

Она была длиннее вчерашней. Буквы шли в два ряда, и между ними был разрыв, словно кто-то стёр одно слово.

Я записывал быстро, но буквы всё равно уходили. Одна повторилась дважды, и я не понял, была ли она в начале или в конце.

Пальцы не гнулись. Я держал карандаш в кулаке, и одна палка легла дважды по одному месту, толще остальных. Я дышал на руку, но пар уходил в сторону.

Карандаш сломался на середине. Я взял второй и продолжил, не отрывая глаз от панели.

В блокноте появилось: «23.40. Строка. Длиннее. Те же буквы в начале. Разрыв».

Потом я добавил: «Одна буква дважды». И обвёл её.

Сова стояла на крыше. Я слышал шаги, но не видел её.

Она ходила от края до края и обратно, и каждый раз на одном месте останавливалась.

— Ты один, — сказала она сверху.

— Один.

— Я слышала, как открылась панель.

— Слышала.

— Я не спустилась.

Я ждал, что она скажет дальше. Над крышей скрипнуло железо, и шаги отошли от края.

— Почему? — спросил я.

— Сверху я вижу двор целиком. Внизу только страницу.

— Завтра третий день.

— Помню.

— Утром она скажет, — сказала Сова.

— Скажет.

— А ты?

— Что я?

— Ты уже решил, что делать, если не скажет.

Я не ответил. Она не переспросила.

Кира стояла в дверях с кружкой. Она молчала. Посмотрела на блокнот, потом на меня.

Пар шёл перед её лицом, и она не отстранялась.

Кружка остывала, а она не пила.

— Ты уверена? — спросил я.

— Утром, — сказала она. — Скажу утром.

Дверь она закрыла тихо, за ручку, без стука.

Я остался на пороге с блокнотом в руке. В сенях капнуло в ведро. Строка на панели погасла, и двор стал ещё темнее.

Второй карандаш я держал в кулаке, пока не замёрзли пальцы. Потом разжал.

Я прочёл запись. Два знака из четырёх я знал. Один из них я видел днём. Другой был новый, и я не знал, куда его ставить.

ГЛАВА 7. СЛУЖЕБНАЯ ДВЕРЬ

Кира сказала это в шесть десять, раньше, чем Сова успела спросить.

Она сидела на ящике у стены, не сняв куртку, и держала кружку обеими руками. У края кружки была отбита эмаль, и Кира держала палец на этом месте, будто там не горячо. Пар шёл у неё перед лицом, и она говорила в пар.

— Я видела такие буквы, — сказала она. — В медмодуле.

Сова не пошевелилась. Она сидела у стола, положив ладони на колени, и смотрела на Киру так, как смотрят на человека, который сам открыл дверь, которую собирались ломать.

Печка гудела. Тепла хватало только на руки. Ноги стыли даже в ботинках.

— Где именно?

— В служебной строке.

— Что это значит?

— Запись есть, приёма нет. Дальше сама поймёшь.

— А если не пойму?

— Поймёшь.

Артём положил блокнот на стол и раскрыл на странице с буквами. Кира даже не посмотрела. Она уже видела.

Буквы лежали на бумаге криво, как их ни поворачивай. Артём провёл по ним пальцем и закрыл блокнот. Угол страницы был затёрт до белизны: он открывал её на этом месте много раз.

Сова сняла ладони с колен и положила их на стол.

— Ты ею пользовалась.

— Пользуюсь.

— Сколько раз?

— Не считала.

— А сколько людей?

— Не считала.

— Ты не считаешь людей?

— Я считаю тех, кто ещё может прийти.

— Плохо.

— Я не для себя.

— Это не делает тебя правой.

— Я не говорила, что права.

— Ты говоришь, что не для себя. Это одно и то же.

Кира перевела взгляд на печку и не ответила.

— Это не оправдание.

— Я знаю.

Сова встала. Табурет под ней скрипнул по полу, и звук остался висеть в воздухе.

— Ты сказала, что у тебя есть ключ. И что ты им пользуешься.

Она не повысила голос.

Кира подняла глаза и не опустила их, когда Сова шагнула ближе.

— Я не первый раз, — сказала она.

У Киры дрожали пальцы. Кружка не дрожала: она держала её плотно, обеими руками, и железо гасило дрожь.

В печке осел уголь. Звук был короткий, как шаг в другой комнате. Дрон перевернулся во сне, и его жилет скрипнул.

— Ты понимаешь, что ты сейчас сказала?

— Понимаю.

— Нет.

Сова постояла над ней и села обратно. Табурет скрипнул второй раз, короче.

Она разжала пальцы на коленях. Посмотрела мимо Киры, туда, где лежали дрова, и сказала не ей:

— Я строку не прочитаю, — сказала Сова. — Я увижу дверь. Строку покажешь ты.

Кира не сразу кивнула.

— Покажи, — сказала Сова.

— Что?

— Дверь.

— Сейчас?

— Сейчас.

— Там очередь.

— Ты умеешь обходить очередь.

— Покажу, — сказала Кира. — Только не спрашивай, откуда талоны.

— Не спрошу.

— Спросишь. Потом.

Сова кивнула и стала застёгивать куртку. Пуговица у ворота не шла, и Сова возилась с ней, пока пуговица не поддалась.

Кира глянула на Артёма. Он кивнул. Она встала и взяла куртку.

У двери она остановилась и проверила карман. Там лежали талоны, сложенные вдвое. Она зажала карман рукой.

Талонов было больше, чем один. Артём перевёл взгляд с её руки на лицо.

Она не убрала руку.

В восемь десять у Любы стояла очередь.

Люба считала вслух. Она водила пальцем по мокрому списку и обводила буквы, которые расплылись.

— Тридцать или тринадцать? — спросила она. — У меня уже двоится.

Артём заглянул в тетрадку. Страница была затёрта до серого, цифра стояла дважды, вторая поверх первой, и вторая была жирнее.

— Тринадцать.

— Значит, тринадцать, — сказала Люба и перечеркнула верхнюю. — А я весь день считала по тридцать.

Она убрала тетрадку под прилавок, потом достала и сунула в карман фартука.

Взяла молоток и стала выпрямлять гвозди. Гвозди были ржавые и гнутые, и половина ломалась.

— Долг растёт, — сказала она между ударами.

— Знаю.

Наблюдатель пришёл без пятнадцати восемь. К восьми он уже стоял не у арки, а ближе, в двадцати шагах от котельной. Там, где раньше не останавливался.

Артём заметил его раньше, чем очередь. По шагу. Каблук отсчитал двадцать шагов и замолчал. Потом ещё два.

Он не прятался и смотрел в сторону двери. Стоял на открытом месте, где не было ни арки, ни навеса.

Морось садилась на прилавок, и Люба вытирала его ладонью, а ладонь всё равно оставалась мокрой. Ботинки у наблюдателя были сухие, будто он шёл не по мокрому.

Люба перестала стучать. Молоток остался у неё в руке.

— Он сегодня близко, — сказала Люба.

— Вижу.

— Ты не подходи.

— Не подойду.

Наблюдатель был всё тот же: худой, светлые прямые волосы, куртка цвета района, руки пустые, часы на левой. Артём глянул на его часы, потом на плечи, и цифра встала сама. Пятьдесят один. Следопыт.

Наблюдатель снял перчатку, взглянул на часы, подул на пальцы и надел перчатку обратно, по одному пальцу.

Он стоял дольше обычного. Не минуту, а три. Очередь делала вид, что не замечает. Артём делал вид, что смотрит в кружку.

Чай был горячий, и руки от него стали мокрыми.

— Первый, — сказал Артём тихо.

— Что первый? — спросила Люба.

— Ничего.

— Ночью у путей опять машина была, — сказала женщина в брезентовой куртке. — Я слышала.

— У путей всегда что-то хлопает, — сказал мужчина за ней.

— Это не хлопало. Это дверца.

Наблюдатель достал блокнот. Карандаш пошёл на слове «дверца».

Он писал одну строку, и рука не останавливалась. Потом он вырвал лист, сложил его вчетверо и убрал в нагрудный карман.

Женщина в брезентовой куртке замолчала. Про дверцу больше не говорили.

Артём не видел, что было на листе.

Наблюдатель повернулся и пошёл обратно. Не прежним шагом. Быстрее, и не к арке, а мимо неё, к гаражам.

Артём проводил его глазами до угла.

Он достал блокнот, нашёл последнюю страницу. Три короткие черты, одна под другой. Он провёл ногтем поперёк верхней и убрал блокнот.

Потом перевёл взгляд на Любу. Она глядела на нитку.

На гвозде у прилавка всё ещё висела чёрная нитка. Она намокла и стала тонкой, как волос.

Люба не снимала её. Может, не замечала. Может, ждала, что кто-то заберёт.

— Ты сегодня не спросил про Немого, — сказала Люба.

— Спрошу завтра.

— Завтра может не быть.

— Тогда спрошу сегодня.

— Сегодня ты уже не спросил.

Артём промолчал.

Люба положила молоток и вытерла прилавок, хотя он был сухой.

Артём допил чай и встал.

В десять тридцать Кира привела его к медмодулю.

Медмодуль стоял у рынка, между аптекой без вывески и ларьком, где продавали шнурки и батарейки. Очередь тянулась вдоль стены, и в ней пахло мокрой шерстью и спиртом.

Над входом висела лампа без плафона. Она горела днём и ночью, и в её свете лица у людей были серые, как стена.

Очередь стояла молча. В ней было больше людей, чем вчера, и почти все смотрели на дверь.

— Здесь всегда так? — спросил Артём.

— Теперь всегда, — сказала Кира.

Внутри старый терминал стоял на стойке, экран был мутный, как стекло, которое долго протирали рукавом.

За стойкой сидел человек в белом халате. Он не смотрел в очередь. Он смотрел в бумаги и писал медленно, словно каждая строка стоила ему отдельного решения.

На его столе стояла кружка с остывшим чаем. Он не пил из неё.

На стойке лежал штамп, и рядом — подушечка с чёрной краской. Штамп был старый, с трещиной.

Человек в халате ставил его на бумаги медленно, и каждый оттиск получался неровным. Он не смотрел, что ставит.

— У меня запись на сегодня, — сказала женщина в платке. — А приёма нет.

— Значит, вы уже были, — сказал человек в халате, не поднимая головы.

Женщина постояла, переложила сумку из одной руки в другую и отошла к стене.

Из рукава она достала сложенную бумажку, развернула, посмотрела на строку и спрятала обратно. На сгибе бумажка уже протёрлась до белого.

Человек в халате повернул штамп, примерил к краю листа и ударил снова. Оттиск лёг с двойным краем. Человек изучил оттиск, отложил лист и взял следующий.

На чистом листе он проверил штамп ещё раз. Этот лист он положил под низ, а не сверху.

— Следующий, — говорил он не в очередь, а в бумаги.

Кира нажала на талон. На экране появилась очередь — номера, время, имена. Потом она открыла служебную строку.

Буквы были те же. Не совсем те же, но похожие: палка, палка, угол, палка.

Артём наклонился ближе. Буквы дрожали, словно экран держал их с усилием.

Он достал блокнот. Кира заслонила экран плечом.

— Не здесь, — сказала она.

Талон был ещё тёплый от её руки. Она держала его двумя пальцами за угол и не сжимала.

Она нажала ещё раз, и в списке появилась чужая запись: номер, время приёма и пустая графа напротив.

— Это не мой номер, — сказала Кира.

Она ткнула в пустую графу. Дверь была невидимая. Стена справа от стойки стала чуть светлее, и в ней появился проход шириной в одного человека.

Кира кивнула в проход.

— Он там.

Проход был холодный. Из него тянуло пылью и старым железом.

Стены в проходе были в потёках, и на полу лежала жестяная банка из-под краски, придавленная кирпичом.

В коридоре стоял старик. Он держался за стену и дышал так, будто каждый вдох был последним. Кира подошла к нему.

— Холодно тут, — сказал старик. — В коридоре холодно.

— Сейчас, — сказала Кира.

Он взглянул на неё и не спросил, кто она. В очереди он, наверное, стоял дольше, чем помнил.

Кира взяла его за запястье. Он не отнял руку, но шагнул к двери.

— Мне в очередь надо, — сказал он. — Я место потеряю.

— Потеряете, — сказала Кира. — Если упадёте.

— Не надо, — сказал старик. — Я дойду.

— Не дойдёте.

Он глянул на дверь, потом на стену. Руки были сухие и тёмные, как земля, и на одной не хватало двух пальцев. Он положил ладонь обратно на стену.

Кира закрыла глаза. На секунду она стала похожа на человека, который слушает очень тихий звук.

По лицу у старика шёл пот, хотя в коридоре было холодно. Ладонь сползла по стене на пол-ладони, и Кира поймала её и вернула на место.

— Пусти, — сказал старик. — Я сам.

— Стойте, — сказала Кира.

Потом его дыхание стало ровнее. Артём услышал это раньше, чем увидел.

Кира не говорила. Она держала его руку и смотрела выше его плеча, туда, где на стене сходились два потёка.

Она лечила его десять минут. Очередь за спиной гудела, но никто не входил.

Артём стоял в дверях. Сунул руки в карманы, вынул, снова сунул.

Кира поправила старику воротник, прежде чем отпустить руку. Он ушёл, и дверь за ним не закрылась.

Старик вышел на улицу. Там стояли другие, и он встал за последним.

Женщина в платке переступила на полшага вперёд, на место, где стоял старик, и подняла глаза к лампе.

Он не обернулся.

Человек в халате поднял голову, взглянул в проход и только потом сказал в бумаги:

— Следующий.

Кира вытерла ладони о тряпку. Тряпка была серая и жёсткая, и она тёрла дольше, чем нужно.

— Почему у тебя выходит? — спросил Артём.

Она не ответила сразу. Она глядела на тряпку, словно на ней было что-то написано.

— Потому что я вижу не только тело, — сказала она наконец. — Я вижу, где оно сломано.

— Это не ответ.

— Это всё, что я могу сказать.

— Что выходит?

— Дверь.

Она глянула на него, потом на проход за его спиной, будто проверяла, кто ещё слышит.

— Не сейчас, — сказала она.

— Кира.

— Не здесь.

Она закрыла служебную строку, и экран снова стал мутным.

Артём глянул на очередь. Никто не смотрел на них. Люди смотрели в сторону двери, из которой вышла Кира, и на старика, который уже ушёл.

Очередь не спрашивала.

На улице кто-то кашлял, и кашель уходил вверх, к закрытым окнам.

Никто не открыл окно.

Кира вышла первой и на улице остановилась, будто забыла, куда идти.

Артём вышел за ней. Свет лампы над входом лежал на мокром асфальте, и в нём было видно, что очередь стала длиннее.

В четырнадцать ноль-ноль Сова сидела у стола и ждала.

Перед ней лежала страница с тремя сигналами, вырванная из блокнота. Она разгладила её ладонью, и бумага стала ещё более мятой.

Артём склонился над страницей. Черта Совы вела дважды, и на втором проходе грифель продавил лист. Один из трёх сигналов уже сбылся.

— Сегодня срок, — сказала она.

— Помню.

— Дверь важнее.

— Ты хочешь войти.

— Хочу.

— Одна?

— С Кирой.

Кира стояла у стены и держала руки у груди, будто в них была кружка. Костяшки побелели.

— Она не ключ, — сказал Артём.

— Она проводник.

— Она уже выбрала, — сказала Сова. — Ключ бы не смог.

— Ключ можно отобрать, — сказал Артём. — Или сломать. А её... — Он не нашёл слова и показал рукой. — Её можно только позвать.

— Я и зову.

— Ты приказываешь.

— Я зову, — сказала Сова. — Она слышит разницу.

Артём глянул на Киру. Она не смотрела ни на кого.

Кира подняла голову.

— Я согласна, — сказала она.

— Тебя не спрашивают, — сказал Артём.

— Спрашивают, — сказала Сова. — Я спросила.

Артём замолчал. В котельной стало слышно, как наверху Дрон переступил с ноги на ногу.

— Дрону не говори, — сказала Сова.

— Он найдёт.

— Пусть найдёт. Не от нас.

— Это будет ложь.

— Это будет не вся правда.

— Для него это одно и то же.

Сова подняла голову.

— Тогда пусть будет одно и то же.

— Я не про дверь, — сказал Артём. — Он не дурак. Он считает быстрее меня. Он увидит по ботинкам, по куртке, которую Кира не сняла. И решит, что мы скрыли не дверь. Он решит, что мы скрыли что-то про него.

— Пусть решает.

— Он уйдёт.

— Не уйдёт.

Печка в этот час уже не гудела, а только потрескивала.

Сова открыла дверцу и подвинула уголь. Страница на столе приподнялась от тяги. Артём положил на неё ладонь.

Сова проследила за его рукой и закрыла дверцу.

— А если там не строка, а люди? — спросил Артём.

— Тогда мы уйдём.

— А если не уйдём?

Сова помолчала. Наверху стукнуло, коротко, как упал ботинок.

— Тогда уйдёт кто-то один.

— Ты знаешь, кто?

— Нет.

— Я тоже.

Кира обернулась к Сове. Сова не отвела глаз.

— Только не один, — сказала Кира.

— Не один, — сказала Сова.

— Если что-то пойдёт не так, — сказала Сова, — скажи Дрону всё. Не по-моему. Всё.

— Ты разрешаешь?

— Я обязываю.

Артём кивнул. Он не отвёл глаз от страницы.

Сова провела ногтем по вычеркнутому имени и проткнула бумагу.

Бумага легла между ними, как граница.

Сова перевернула страницу лицом вниз.

В семнадцать десять Дрон принёс кабель.

Он вошёл, не сняв шапку, и бросил его на верстак так, что пломба звякнула о металл. Сразу запахло резиной и холодом.

Оболочка была порезана в двух местах, и из-под неё выглядывали медные жилы. Их было много, больше, чем нужно для обычного кабеля. Одна жила торчала наружу, обкусанная неровно, как проволока из старой щётки.

— Где взял? — спросил Артём.

— У насыпи. В траве лежал. Я его сначала ногой попробовал, думал, проволока. Он холодный, как земля, и не грелся. Я по нему пошёл — он тянется. В траве, потом в земле. Уходит под забор.

— В институт?

— В институт.

— К какому институту?

— За путями. Заброшенный. Там раньше что-то было.

Дрон говорил быстро, не переводя дыхания, и смотрел не на них, а на кабель.

— Я по нему завтра пойду, — сказал он. — Один.

— Не пойдёшь, — сказала Сова.

— Посмотрим.

На срезе виднелись тонкие провода другого цвета. Дрон сказал, что таких не видел, но не стал рассматривать.

Он вытер ладони о штаны и отошёл на шаг.

Кабель лежал на верстаке холодный, словно его отключили давно.

Пломба была маленькая, свинцовая, с оттиском. На оттиске были буквы. Те же, что в блокноте.

Артём узнал их сразу. Палка, палка, угол, палка. Только здесь они были вдавлены в металл, а не написаны карандашом.

Он провёл по пломбе пальцем. Металл был холодный, а оттиск — глубокий, словно его делали не для красоты. На свинце сбоку была царапина, будто его пробовали на зуб.

Сова глянула на Артёма. Артём закрыл блокнот и положил сверху кабель.

Кира стояла у верстака и глядела на пломбу. Потом придвинула её к лампе и повернула оттиском к свету.

— Это та же строка, — сказала она.

— Ты уверена? — спросила Сова.

— Да.

— Вы чего? — спросил Дрон.

— Ничего, — сказала Сова.

— У вас лица, как будто вы нашли труп.

— Не труп.

— Ещё хуже?

— Не нашли.

Дрон перевёл взгляд на них, потом на кабель. Потом снова на них.

— Ладно, — сказал он. — Я не слышал.

Он сказал это уже с лестницы, не оборачиваясь. Голос шёл сверху, из темноты.

Сова смотрела ему в спину.

Дверь наверх осталась открытой.

На лестнице лежала шапка, которую он снял, поднимаясь. Никто не сказал ему об этом.

Он ушёл наверх. Кабель остался на верстаке, и пломба покачивалась на нём, как маятник.

Сова подождала, пока шаги Дрона стихнут, и только потом перевела глаза на блокнот.

— Он слышал, — сказала Кира.

— Слышал.

— И что?

— Ничего. Пока.

Кира подняла голову.

Дрон не спустился. Он даже не двигался.

В двадцать пятьдесят восемь, когда стемнело, Артём вышел на порог.

Наблюдатель стоял в двадцати шагах от двери. Днём он остановился на двадцать втором.

Фонарь горел за его спиной, и лицо было тёмным. Артём видел только силуэт и часы на левой руке.

Наблюдатель стоял так, будто ждал, что дверь откроется сама. В луже у порога стояла вода, и по её краю уже взялась тонкая корка. Он перенёс вес с одной ноги на другую и снова замер.

Артём не двинулся. Он глядел на часы на левой руке наблюдателя и считал.

Один. Два. Три.

Сова стояла за спиной Артёма. Он не слышал, как она подошла. Рука её лежала на засове.

— Он не подойдёт, — сказала Сова.

— Почему?

— Ему нужно, чтобы мы видели.

Наблюдатель достал коробок. Спичка чиркнула, и огонёк зажёгся между ладонями. Лица не стало видно, только руки и огонь.

Он держал спичку, пока она не догорела до пальцев. Потом встряхнул рукой и пошёл. Не к арке. В другую сторону, мимо гаражей.

— Он ушёл не туда, — сказал Артём.

— Туда, — сказала Сова. — Просто другой дорогой.

Сова сняла руку с засова. Металл под пальцами остался тёплым, и она подержала пальцы в воздухе, прежде чем опустить.

— Срок вышел.

— Знаю.

— Мы не будем его трогать.

Артём повернул голову.

— Почему сейчас?

— Теперь у нас есть дверь.

В проезде стало тихо. Фонарь мигнул и снова загорелся.

Артём не сразу пошёл внутрь. В проезде пахло мокрым бетоном и чем-то горелым.

Он взглянул на дверь. Она была закрыта. Он не помнил, кто её закрыл.

В двадцать два тридцать кабель лежал на столе. Обрезанный конец свисал с края, и на полу под ним лежала медная стружка.

Сова положила его так, чтобы пломба была видна. Кира села напротив. Артём остался стоять.

Лампа горела только над столом, и лица были наполовину в тени.

Сова перевернула страницу. На ней был вычеркнутый второй человек и слово «Пока».

Артём смотрел на слово. Оно стояло в конце строки, и после него бумага была чистой.

Кира положила на стол талон. Не отдала — положила, как кладут то, что пока не решено.

Сова взяла карандаш.

— Завтра, — сказала она. — После вечера.

Кира кивнула. Артём кивнул следом, позже, чем она.

— Если за дверью люди, — сказала Кира, — я вывожу людей. Строку ищете сами.

Сова держала её взгляд. Потом написала на обороте страницы.

— Что ты пишешь? — спросил Артём.

— Условие.

Она писала долго, хотя строка была одна.

Артём не видел букв. Он видел только, как грифель останавливается и идёт дальше.

Сова сложила страницу вдвое и убрала в карман. Потом проверила карман снаружи, будто бумага могла выпасть.

Она накрыла пломбу ладонью. Буквы под её пальцами стали не видны.

Талон остался на столе.

Кира взяла его и встала.

Сова убрала ладонь. Буквы снова стали видны.

— До утра, — сказала Кира.

Никто не ответил.

Кира вышла, не сказав больше ни слова.

Дверь за Кирой закрылась тихо, и в котельной стало ещё тише. Дрон наверху не пошевелился.

Сова смотрела ей в спину, потом на пустое место, где лежал талон.

Артём остался сидеть. Кабель лежал перед ним, и пломба блестела в свете лампы.

Он положил руку на резину. Она была холодная, а пломба под пальцем казалась тёплой.

За стеной прошли шаги. Один. Два. Три. Потом стихли. Сова не пошевелилась.

В сенях капнуло в ведро, потом ещё раз, реже. Дрон спал. Артём считал капли и сбился на седьмой.

Он закрыл глаза и слушал, как остывает печка. Уголь в ней щёлкал всё реже, и на каждом щелчке свет лампы чуть вздрагивал.

ГЛАВА 8. ИНСТИТУТ

Кира вывела нас из котельной в шесть десять, не сказав Дрону ни слова.

Дрон спал на полу, подложив под голову жилет. Он даже не перевернулся, когда мы одевались.

В котельной было холодно. Печка ещё не взялась, и от неё шёл только запах вчерашнего угля.

На краю стола стояла кружка с недопитым чаем. Чай был холодный, и на нём была плёнка.

Я не стал его выливать. В котельной нельзя выливать чай, даже холодный.

Я накрыл кружку блюдцем. Блюдце было из другой чашки, но другого не нашлось.

Кира молчала. Все молчали. Она была в куртке, застёгнутой до горла, и в руках держала талоны, сложенные вдвое.

Сова вышла последней. Она закрыла дверь тихо, но замок всё равно щёлкнул.

Она постояла секунду, прислушиваясь. Наверху Дрон не шевелился. Потом она кивнула, и мы пошли.

Кира шла первой. Сова пропустила меня вперёд и пошла последней. Она оборачивалась через несколько шагов.

Я шёл между ними. Их шаги падали с двух сторон, не вместе, и я слышал оба. Я попробовал попасть в их шаг и не попал.

— Он проснётся, — сказал я.

— Пусть, — сказала Сова.

— И что мы ему скажем?

— Что ходили за водой.

— За водой ходят с ведром.

— Значит, скажем, что ходили за ведром.

Сова не улыбнулась. Она вообще не шутила с той ночи, когда мы считали трупы.

Впереди Кира не оглядывалась, но каждый раз, когда мы сворачивали, ждала нас на углу.

Она знала дорогу лучше, чем я. Я привык считать повороты. Она их не считала.

Она ни разу не ошиблась. Даже у поворота, где не было указателя.

На улице было серо. Дождь не шёл, но воздух был мокрый, словно дождь уже был и ещё будет.

Рынок просыпался. Кто-то открывал ставни, кто-то катил тележку. Всё это было тихо, как в чужом сне.

У ларька с батарейками стоял человек и смотрел в витрину. В витрине лежали батарейки трёх размеров, все одного цвета. Он не выбирал. Он просто стоял.

Медмодуль стоял у рынка. В этот час очередь была короткая: пять человек и старуха с сумкой на колёсах.

Старуха стояла не в очереди, а рядом, и очередь её не подгоняла. Она смотрела на дверь модуля.

Когда мы прошли, она проводила нас глазами. Я не оборачивался. Дверь закрылась, и только тогда очередь за спиной снова заговорила.

Внутри было темнее, чем снаружи. Глаза привыкали долго, и всё это время я слышал только своё дыхание.

Потом я услышал ещё одно. Оно было тише и ровнее. Это дышала Кира.

Кира прошла мимо очереди, не глядя. Сова за ней. Я за Совой.

— Доброе утро, — сказала старуха и поправила на сумке ремень, хотя ремень был застёгнут.

Кира кивнула. Рука у неё вышла из кармана наполовину и вернулась. Она не остановилась.

— Молодой человек, — сказала старуха мне. — Подержите.

Она сунула мне в руку сложенную бумажку и взялась за молнию сумки обеими руками. Молния шла туго. Старуха дёргала её и не смотрела на меня.

Бумажка была тёплая. Я держал, пока не застегнулось.

— Спасибо, — сказала она и забрала бумажку. — Идите. Мне тут ещё стоять.

Она снова повернулась к двери модуля и стала ждать.

Внутри пахло спиртом и мокрой шерстью. Человек в белом халате поднял голову, но ничего не сказал.

Он глянул на Киру, потом на нас и снова уткнулся в бумаги. Ручка в его пальцах стояла над листом и не двигалась. Он повернул её в пальцах и снова положил.

В стопке талонов на его столе верхний был надорван. Он не оторвал его до конца.

Кира нажала на талон. На экране появилась очередь. Потом она открыла служебную строку.

— Смотрите, — сказала она.

Буквы были те же. Палка, палка, угол, палка.

Сова наклонилась к экрану. Она смотрела долго, хотя там было четыре знака.

— Они не такие, как в блокноте, — сказала она.

— Те же, — сказала Кира.

— Похожие.

Экран она не тронула. Руки держала в рукавах.

— Это они, — сказала Кира.

— Открывай, — сказала Сова.

Кира нажала на пустое место. Стена справа стала светлее, и в ней появился проход.

— Идите за мной, — сказала Кира. — Не отставайте и ничего не трогайте.

— Ты уже говорила это, — сказал я.

— Теперь это важнее.

Мы вошли.

Служебный коридор был узкий. Кафель на стенах пожелтел, местами отвалился, и под ним был бетон.

По обе стороны — двери без номеров. Одна стояла приоткрытой: в щели был виден стол и стул.

Я толкнул дверь пальцем. Она открылась без скрипа, и по комнате прошёл воздух — тёплый, как будто кто-то только что вышел.

На стуле лежал халат, сложенный вдвое. На халате — очки. От двери по халату пошла складка, и нитка на левой дужке качнулась.

Стёкла были чистые. Я держал руки в карманах.

Пахло пылью и старой изоляцией. Где-то гудел вентилятор. Я приложил ладонь к стене — стена гудела.

Звук не приближался и не удалялся.

Кира остановилась, послушала. Потом пошла дальше.

Я убрал ладонь. На пальцах осталась серая полоса.

— Здесь ходят ремонтники, — сказала Кира. — Раз в месяц. Иногда реже.

— А ты? — спросила Сова.

— Я хожу, когда нужно.

Коридор кончился дверью без ручки. На краске осталось светлое пятно — там, где её толкали ладонью.

Кира вытерла ладони о штаны — сначала одну, потом другую, — и приложила ладонь к стене. Дверь открылась.

За ней была комната, похожая на кабинет, из которого вынесли всё, кроме стола и терминала.

Кусок линолеума отстал от стены и лежал на полу. Под ним была бетонная плита с трещиной.

В трещине была пыль, и в пыли — след от чьего-то ботинка. След был старый, но не очень.

Терминал был старый, с толстым экраном и серым корпусом. У кнопок корпус был потёрт, сами кнопки стёрты до белого.

Строка на экране была та же, и в ней не было курсора. Она стояла, как надпись на камне.

Я провёл пальцем по экрану. Стекло было тёплое.

— Он не выключается, — сказала Кира.

— Давно? — спросила Сова.

— Я не считала.

Я подошёл ближе. На столе лежали бумаги, придавленные металлической линейкой. Бумага была сухая, хотя в коридоре пахло сыростью.

На верхней странице был список. Я прочитал первую строку: «Служебная дверь. Медмодуль. Проверка раз в месяц».

Бумага была плотная, с водяным знаком. Такую бумагу я видел только у Барклы.

На полях была пометка карандашом, стёртая почти до белого. Я не смог её прочитать.

Я перевернул лист. На обороте был штамп: круг и внутри — те же четыре знака.

Ниже — вторая: «Кабель. Насыпь. Институт. Не трогать».

— Сова, — сказал я.

Она подошла и прочитала сама. Потом взяла лист и сложила его вчетверо.

— Это не список, — сказала она. — Это маршрут.

Кира отвернулась к двери. Я ждал, что она скажет: этого не может быть. Она не сказала.

— Ты знала? — спросила Сова.

— Знала, что кабель есть. Не знала, что он идёт туда.

— А куда ты думала?

— В стену. В подвал. Куда угодно.

— Но не в институт.

— Не в институт.

— А что там?

— Институт. Заброшенный.

— Ты была внутри?

— Нет.

— Почему?

— Там нет пациентов.

Сова взглянула на неё. Кира не отвела глаз.

— Ты боишься, — сказала Сова.

— Я не хожу туда, где не могу помочь.

— А если там кто-то есть?

— Тогда я не смогу помочь.

— Это не одно и то же.

— Для меня одно.

— Это не ответ.

— Знаю, — сказала Кира. — Это всё, что у меня есть.

Сова положила лист в карман и посмотрела на терминал. Строка на экране мигнула и погасла.

— Пошли, — сказала она.

Мы вышли через ту же дверь. Стена за нами стала прежней, и в коридоре снова стало темно.

В десять тридцать Дрон сидел на верстаке и держал кабель обеими руками.

Не спал. И не притворялся.

На нём была та же одежда, что вчера. Он не ложился.

Он посмотрел на меня и не сказал ни слова. Я не спрашивал. В котельной было тихо, и даже печка не трещала. Кира осталась у двери.

Инструменты лежали перед ним ровно, как перед работой. Изолента была намотана на палец. Он не работал. Он ждал.

Он не встал, когда мы вошли. Только подбородком показал на свободный стул.

Я сел напротив. Он смотрел на кабель. Я ждал, что он заговорит первым, и он заговорил.

— Вы ходили без меня, — сказал он.

— Ходили, — сказала Сова.

— И не разбудили.

— Не разбудили.

— Почему?

— Потому что ты бы пошёл.

— И что?

— И тебя бы увидели. И спросили бы, откуда кабель.

— За водой?

— За водой.

— С кабелем?

Сова не ответила. Дрон положил кабель на верстак. Пломба звякнула.

Он сделал это медленно. Давал ей время передумать.

— Я его прозвонил, — сказал он. — От пломбы до пломбы. Он не с той стороны. Он идёт к институту.

— Ты уверен? — спросила Сова.

— Я его прозвонил, — повторил Дрон. — Я не гадаю.

— Знаем, — сказала Сова.

— Знаете.

Он сказал это тихо. Потом встал, и верстак под ним скрипнул.

Дрон был высокий. Когда он стоял, котельная казалась меньше.

Он не смотрел на Киру. Глядел на Сову.

Он не кричал. Говорил тихо, и Кира у двери переступила с ноги на ногу.

Я видел, как у него дрожат руки. Он заметил, что я смотрю, и положил их на колени.

— Вы знали, что он идёт туда, и не сказали.

— Мы сказали бы.

— Когда? После того, как сходите?

— Дрон.

— Нет. — Он поднял руку. — Не надо. Я не ребёнок.

— Я не говорю, что ты ребёнок.

— Говоришь. Вы все говорите. Просто не вслух.

Сова молчала. Кира стояла у стены и смотрела в пол.

— Я не ребёнок, — повторил Дрон. — Я вам не ребёнок. Я вам руки. Я вам Серёга. Я вам кабель. А вы мне — «за водой».

— Дрон.

— Что Дрон? Я не глухой. Я не слепой. Я не тупой.

— Никто не говорит, что ты тупой.

— Вы не говорите. Вы делаете.

— Это было не твоё дело, — сказала Сова.

— Моё. — Он ударил ладонью по верстаку. Не сильно, но всё равно громко. — Кабель мой. Я его нашёл.

На верстаке подпрыгнула гайка и укатилась под стол. Дрон не стал её поднимать.

Он смотрел на Сову. Носком ботинка нашарил под столом гайку и придавил её к полу.

— Поэтому ты идёшь с нами, — сказала Сова.

Дрон замолчал.

— Что?

— Ты идёшь с нами, — сказала Сова. — Завтра. Не один.

— Не один, — сказал Дрон.

— Не один.

Сова обошла верстак и встала рядом с ним, а не напротив. Ладонь она положила на доску, рядом с его рукой.

— Я тебя не разбудила, — сказала она. — В другой раз разбужу. Даже если спишь.

— А если не разбудишь?

— Тогда ты не пойдёшь. И будешь прав.

Дрон глянул на её ладонь, потом в лицо.

— Ты не извиняешься.

— Нет.

Он оглядел нас по очереди — Сову, меня, Киру. Потом сел обратно.

Стул под ним скрипнул, и Дрон ссутулился.

Сова убрала ладонь. На доске остался след — светлее, чем пыль вокруг.

— Ладно, — сказал он. — Но если вы ещё раз...

— Ещё раз — что? — спросила Сова.

— Ничего, — сказал Дрон. — Ещё раз — я с вами.

Он встал, взял с печки чайник и налил в свою кружку. Кружка была та же, что утром: плёнка на чае лопнула, когда он налил. Поставил её перед Кирой, не перед Совой.

Кира посмотрела на кружку. Не взяла.

— Она холодная, — сказала она.

— Знаю, — сказал Дрон и сел.

В четырнадцать двадцать мы стояли у института.

Дорога за путями была пустая. Рельсы блестели от влаги, и по ним шёл узкий луч света, хотя солнца не было.

Мы шли вдоль путей. Дрон считал шпалы про себя, шевеля губами, Сова смотрела по сторонам, Кира шла за нами.

За путями начиналась другая земля. Не Серяки. Здесь не было очередей и бочек, не было людей с ведрами. Были заборы, склады и длинное здание с пустыми окнами.

На стене склада кто-то написал краской слово из трёх букв. Краска потекла, и слово стало похоже на трещину.

Я отвернулся.

— Даже собак нет, — сказал Дрон.

Институт стоял в глубине двора. Стёкла в окнах были целы только на третьем этаже. На первом зияли дыры, и в них была темнота.

Перед входом лежала бетонная плита, наполовину ушедшая в землю. На ней не было ни надписи, ни номера.

На плите сидел голубь. Когда мы подошли, он не улетел.

Он смотрел на нас одним глазом, и в этом глазу не было ни страха, ни интереса. Только отражение.

Дрон сделал шаг, и голубь переступил с лапы на лапу. Больше ничего не произошло.

У стены тянулся кабель. Тот же. В резиновой оболочке, с пломбой, которую Дрон узнал издалека.

Он шёл по земле, потом поднимался по стене и уходил в окно второго этажа.

Трава под кабелем была примята и суше, чем вокруг.

В месте, где кабель касался стены, краска обгорела. Не от огня. От времени.

Пахло мокрым бетоном и ржавчиной. Ветер нёс этот запах через двор и не разбавлял.

— Вот он, — сказал Дрон. — Я по нему шёл.

— Тихо, — сказала Сова.

Мы стояли за забором и смотрели. В одном окне на втором этаже горел свет. Неяркий, ровный, как от лампы, которую забыли выключить.

Свет не мигал. Он не двигался. Он просто был.

Я подумал, что так горит не лампа, а что-то, что не умеет гаснуть. Потом я посчитал окна. Светлое было одно.

Сова тронула меня за рукав. Я посмотрел на неё. Она показала глазами на забор. Там был просвет.

— Там кто-то есть, — сказал Дрон.

— Или что-то, — сказала Сова.

На стене у входа висела табличка. Буквы на ней были те же. Палка, палка, угол, палка.

Табличка была металлическая, с четырьмя болтами. Болты заржавели, но буквы остались чёткими.

— Это не табличка, — сказал я. — Это пломба. Только большая.

Сова посмотрела на меня.

— Ты уверен?

— Нет.

— Хорошо, — сказала она. — Тогда не будем делать вид, что уверены.

Мы простояли у забора ещё двадцать минут.

Ветер гнал по двору сухую траву. Она цеплялась за забор и оставалась висеть, как маленькие флаги.

Где-то в глубине двора хлопнула дверь. Мы все пригнулись. Дверь больше не хлопнула.

На одном из окон второго этажа была открыта форточка, и в ней шевелилась занавеска.

Свет в окне не двигался. Никто не выходил.

Кабель гудел, если приложить ухо к забору, но, может, это гудел ветер.

Дрон присел и потрогал кабель. Он отдёрнул руку.

— Тёплый, — сказал он.

— Насколько? — спросила Сова.

— Как чайник, который уже выключили.

— Сначала свет, — сказала Сова. — Потом стены. Потом люди.

— А если свет — это узел? — спросил Дрон.

— Тогда мы посмотрим на узел.

— И всё?

— И всё.

— А если там нет людей? — спросил Дрон.

— Тогда будет проще.

В восемнадцать ноль-ноль мы разложили на столе распечатку и кабель.

Лампа горела над столом, и в её свете пломба казалась золотой, хотя была свинцовой.

Дрон взял пломбу и поднёс к лампе. Буквы стали видны чётче, но понятнее не стали. Он поскрёб пломбу ногтем, и на стол упала свинцовая стружка.

Кира сидела с краю, вне света. Дрон стоял, потому что не мог сидеть.

Под лампой Сова разгладила лист ладонью и придержала угол пальцем.

Столешница была в следах от гвоздей. Я вёл по ним пальцем и не замечал, что делаю.

Сова заметила. Она ничего не сказала.

— Тут «не трогать» два раза, — сказал Дрон, водя пальцем по листу. — Это они для себя писали.

— Или для тех, кто найдёт, — сказала Сова.

В лампе что-то щёлкнуло. Свет на секунду стал жёлтее.

— Узел — это что? — спросил Дрон.

— Не знаю, — сказала Сова.

— А ты? — Дрон посмотрел на меня.

— Не знаю, — сказал я. — Но это не интерфейс. Интерфейс не оставляет кабелей.

— А что оставляет?

— Железо.

Дрон наклонился над схемой. Его палец прошёл по линии от медмодуля к институту.

Линия была тонкая, но ровная. Её вели не от руки. Её печатали.

Ноготь Совы прошёл по линии и оставил в пыли светлую дорожку. Она вытерла палец о край стола.

— Тут ещё одна линия, — сказал Дрон. — От института. Только она обрывается.

— Где обрывается? — спросила Сова.

— За городом. Дальше не нарисовано.

— Или стёрто.

— Где?

— Здесь. — Сова ткнула пальцем в конец линии. — Тут бумага чистая.

Дрон достал из кармана гайку — ту, что давил ботинком, — и положил её на схему, на самый конец линии.

— Вот тут.

Сова перевела взгляд на обрыв. Потом на меня.

— Завтра, — сказала она. — Сначала свет. Если свет — лампа, войдём. Если свет — не лампа, уйдём.

— А если за обрывом узел? — Дрон постучал ногтем по гайке.

— Тогда уйдём быстрее.

— А если он нас увидит?

— Узел не видит.

— Ты уверена?

— Нет.

Дрон хотел что-то сказать, но не сказал. Кира подняла голову.

Она смотрела на схему так, как смотрят на знакомый почерк.

Я хотел спросить, чей это почерк, но не спросил. Сова отпустила угол листа, и бумага поднялась с одного края.

— Я не пойду внутрь, — сказала Кира.

Сова взглянула на неё.

— Почему?

Кира положила палец на линию, у самой гайки, и не убрала.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.